

E'3617.8

7ГК93
Щ-407

Во втором полугодии 1986 год
в библиотеке «Писатель и время»
вышли книги:

Г. Бакланов. Ехали земляки
В. Жемчужников. На байкальском берегу
А. Никитин. Как сделать карьеру
В. Рудный. В море нет обеденьев
С. Самсонов. Деревенская моя Тина
Э. Ставский. Мысли о богатстве
В. Шугаев. Очертания разных миров

Над книгами библиотеки «Писатель и время» работают
писатели: М. Алексеев, Л. Белова, В. Белов, Л. Жуховицкий,
Т. Гайдар, Ю. Галкин, А. Иваненко, Г. Лисичкин,
Б. Можаяев, Ю. Нагибин, В. Распутин, Г. Резниченко,
А. Стреляный, И. Уханов, Р. Хакимов.

Приобретайте книги в магазинах Книготорга и потреби-
тельской кооперации, в киосках «Союзпечати».

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ



Юрий ЩЕКОЧИХИН
НА КАЧЕЛЯХ

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·

1576

7ГХ93

Юрий ЩЕКОЧИХИН

НА КАЧЕЛЯХ

ИМ. ГОРЬКОГО
БИБЛИОТЕКА
М. Г. У.

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1987

В сборнике документальных рассказов Ю. Щекочи-
хина речь идет о подростках, совершивших тяжкие уго-
ловные преступления. Автор не только не приукрашивает
правду, рассказывая о том, как и почему были совер-
шены убийства, но и посвящает нас в совершенно не-
привычные, как правило, стыдливые неоглашаемые под-
робности душевного состояния преступников и просто
подростков и юношей, их быта и взаимоотношений друг
с другом и со взрослыми, которые наводят на очень
серьезные размышления...

ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ:

БОНДАРЕВ Ю. В., БЕНЕНСОН А. Н., БЛИНОВ А. Д.,
ВИКУЛОВ С. В., ИВАНОВ А. С., КРАМИНОВ Д. Ф.,
ЛОПАТИНА Е. К., МЕДНИКОВ А. М., ПОВОЛЯЕВ В. Д.,
РОСЛЯКОВ В. П., СЕРГОВАНЦЕВ Н. М.,
ШАПОШНИКОВА В. Д., ШУРТАКОВ С. И.

ОТ АВТОРА

Истории, о которых я хочу рассказать, связаны с
жизнью молодежи и подростков, с их судьбами, с их паде-
ниями и взлетами.

Когда я впервые столкнулся с этой темой, я задал себе
вопрос, который давно уже стал общим местом: мир мо-
лодежи — что это такое?

Мне кажется, я вовремя понял: стены кабинета и пись-
менный стол предполагают взгляд на проблему как бы
из прекрасного далека, сквозь розовую ткань, за которой
слышны голоса, но смысл разговора не ясен, и поэтому
любые — самые умелые и изящные — обобщения и прогно-
зы ничего не объясняют и ни на что не влияют.

Я попытался отодвинуть ткань, выйти из кабинета и
встать с явлением лицом к лицу — по законам профессии,
которую выбрал.

Вероятно, мои наблюдения прибавят кому-то знаний,
но мне кажется, что еще более они повергнут в бездну
неизведанного.

Поэтому тот, кто захочет отыскать в моей книге гото-
вые педагогические и иные рецепты, — ошибется. Рецептов
у меня нет.

«ЧИСТО СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

Это случилось в деревне Есино, расположенной рядом с одноименной подмосковной платформой. Новость о том, что в канаве возле железнодорожного полотна нашли труп, разнеслась быстро, как будто в каждом доме имелся телефон. Человек, которого убили, в деревне был пришелым, никто не знал, откуда он появился здесь. Рассказывали, что он недолго сидел и освободился весной, ночевал то ли у родственников, то ли знакомых, нигде не работал и был не хуже других деревенских забулдыг. Вообще, интереса он ни для кого не представлял, и заговорили о нем только тогда, когда его не стало.

В милиции узнали о случившемся по звонку билетного кассира со станции Есино. Люди, которые нашли убитого, назвали его фамилию, имя и сказали, что пропал он из деревни еще десять дней назад, решили поискать — и вот, на тебе!

На станцию Есино прибыли оперативные группы нескольких отделов милиции: железная дорога — всегда граница разных «участков». Возникла обычная проблема, кому взять дело, но поскольку убитого опознали как жителя местной деревни, было предложено вести розыск местной милиции. Но последняя развернула карту и доказала, что от канавы до ее территории не хватает ровно полметра. Значит, мол, транспортникам и страдать. Доводы более чем формальные, но начальник отдела внутренних дел станции Кусково подполковник милиции Дмитрий Николаевич Медведев не стал спорить, а сразу организовал поиск. Кто? Что? Почему? Хотели ограбить? Свести счеты? Не поделили бутылку портвейна? В пьяном угаре? На трезвую голову? Случайно? Намеренно?

Поиск был организован четко. Через шесть дней участковый, чуть ли не за шиворот, приволок Сашу и Женю. Двух жителей деревни Есино. Двух пятнадцатилетних пацанов, забивших ногами сорокатрехлетнего мужчину. Женю, который сам себя называл Джека, и Сашу, которого ребята звали Панса.

В первый же день Женя-Джека стал автором сочинения, текст которого мне хочется привести почти полностью, расставив только запятые.

Сочинение называется «Чисто сердечное признание». «1) В декабре 1982 года с Сашей приблизительно в 21 час на Алешкинских дачах совершили преступление, т. е. взломали входную дверь, проникли внутрь здания, где выкрали мясные консервы, сгущенное молоко, несколько напильников и восковую квадратную свечу. 2) На следующей даче с Сашей проникли внутрь через окно, где украли несколько килограммов дрови, патроны, две пачки порошка «Сокол». 3) Был такой случай. В начале осени 1983 года — в сентябре или октябре, точно не помню. Шел мужчина выпимши от станции Храпуново в сторону Алешкинских дач. Встретили мы его в деревне Есино, спросили закурить, на что он ответил грубостью. Мы его ударили по голове, после чего попинали ногами и ушли. Было это вечером, уже было темно. 4) 14 августа 1983 года я и еще двое по дороге к дачам повстречали мужчину, который шел в сторону Алешкинских садов. Остановили его, побили палкой по голове, после чего он упал. Попинали его ногами и вытащили из кармана портмоне, в котором находилось восемь копеек. 5) В сентябре месяце я и Саша ехали в электричке от станции Фрязево в Есино. Увидели молодого мужчину, спросили закурить, на что он ответил грубостью. У нас было два железнодорожных плафона, которые мы разбили об его голову. Он нам оказал физическое сопротивление, и мы смылись в разные вагоны. Выш-

ли на станции Есино. 6) В конце октября 1983 года мы с Сашей на Храпуновских дачах похитили резиновую лодку, весла в чехле, варенье, одну банку овощных консервов. 7) В июне 1983 года я и Саша проходили по станции Есино. Где к нам подошли двое мужчин, которых мы и избили. 8) Летом в 1982 году я и Саша, открыв люк вагона товарного, проникли внутрь состава, в котором находились листы фанеры. Фанеру мы не брали. 9) В сентябре 1983 года Саша и я проехали мимо своей остановки Есино. Сошли на станции Храпуново и пошли пешком по шоссе домой. По дороге догнали какого-то мужчину, который был в нетрезвом состоянии. Спросили у него сигарету, после чего отстали от него, чтобы выломать два кола из забора. Догнали мужчину, ударили его по разу палкой. При этом взяли часыменные и две бутылки настойки «Лимонной крепкой» и примерно рублей 30 денег. Удар колом нанесли по голове. 10) 14 августа 1983 года Валера и я поехали во Фрязево за вином. В связи с тем, что у него был день рождения. По пути во Фрязево в электричке мы с Валерой увидели мужчину, который спал на лавочке в вагоне. Рядом с ним стоял саквояж, в котором находились две бутылки вина, которые мы взяли. 11) 14 августа 1983 года Валера и я со станции Фрязево проехали до станции Купавна на электричке. Потом поехали обратно. В вагоне к нам пристал парень лет восемнадцати, которого мы избили».

Наконец, тот день по поводу которого пишется этот отчет.

«12) 21 октября 1983 года я и Саша были выпимши со своими девушками Ольгой и Леной. Саша поссорился с Леной. Проводив девушек, я и Саша возвратились на станцию, где избили мужчину и оттащили его в посадку (кустарник возле платформы.— Ю. Ш.), там бросили в яму. В яме мы еще ударили его по разу. А отнесли мы его

в посадку потому, что на станции могли появиться знакомые люди, которые, увидев лежащего мужчину, могли признать нас с Сашей и донести в милицию. 24 октября я, Саша и Лена решили посмотреть на мужчину. Взяли лопаты и закопали его. Сев покурить, мы поговорили, чтоб никто не трепал языком об убийстве, и разошлись по домам.

Со слов Саши я знаю, что 26 октября он и Сергей еще раз ходили на место преступления. Разрыв землю, они увидели изуродованное лицо и сразу зарыли. Если что еще вспомню, то напишу».

Перечитал текст «чисто сердечного» сочинения Джеки. Оказалось, что на пишущей машинке он занимает две с половиной страницы. Много, может быть, слишком подробно цитирую и «сгущенное молоко», и «восемь копеек в портмоне», и «грубо ответил», и «изуродованное лицо».

Но не хочу вычеркивать и не хочу сокращать. И не хочу, чтобы этот документ затерялся где-нибудь в пыльных архивах среди других уголовных дел. Случается, что один листок, небрежно исписанный, дает нам представление о личности больше, чем полная биография в картинках, бывает, что точное наблюдение случайного очевидца скажет нам об историческом событии куда больше, чем обстоятельная монография. И такое вот «сочинение» окажется вдруг намного ценнее, чем любой журналистский пересказ.

Пункт первый, второй, пятый, двенадцатый и приписка: «Если что еще вспомню...» Полтора года из жизни деревенского подростка: с лета 1982-го по осень 83-го.

Как? Почему?

...Женя-Джека оказался мальчишкой с еще детскими припухлыми губами и чуть заметным пушком на щеках. Далеко не богатырь, скорее тшедушный. Говорю с ним и забываю, что это убийца. Рассказывает охотно: кончил во-

семь классов, в девятый не приняли, отправили в ПТУ. Есть отец, мать, бабушка.

— Давно ли ты дерешься, Женя? — спросил я его.

Он ответил, что с детского сада.

— Когда ты впервые ударил человека ногой в лицо?

Он начал добросовестно вспоминать, потом вздохнул облегченно: в шестом классе, где-то в середине.

— Было ли тебе жалко человека, которого вы избивали на перроне станции Есино?

Он спросил, «когда именно было жалко», когда били или потом?

— Допустим, когда били?

Он ответил, что нет, не было, потому что «мы злые были». Что же их разозлило? Оказалось, тот человек называл их «бандитами».

— За что он вас так называл?

— Мы стали его обыскивать, а он нам: «Бандиты».

Я спросил его, считает он себя человеком добрым или злым.

— Смотря какое настроение. Если кто разозлит, становлюсь злым.

Тот разозлил.

— Помнишь ли ты, Женя, лицо того человека?

Он искренне удивился:

— Что я, на него смотрел, что ли?

Я спросил, как бы он поступил, если бы на его глазах вот такие же пацаны избивали его отца, ровесника того человека. Он честно ответил, что сначала бы узнал, за что бьют. За дело или нет? Если «не за дело», то бы вмешался.

Я уже знал, что они били того человека не только на перроне, но и где-то около березы.

— Зачем? — спросил я. — Он же ведь больше не оказывал и не мог оказать сопротивление.

— Он что-то мычал, — обиженно сказал Джека.

Спросил, почему его приятеля Сашу обозвали кличкой Панса.

Женя объяснил, что был такой (как он выразился) «помощник» Дон Кихота. Я спросил, кто придумал Дон Кихота с его помощником. Женя ответил, что не знает, не читал.

Тогда я наугад начал спрашивать (сам стесняясь этих вопросов), каких писателей, ученых, композиторов он знает.

Он уныло назвал несколько имен классиков и оживился, добавил, что из композиторов любит только «Антонова, который по телевизору».

Я спросил, сколько книг у него в доме. Женя ответил, что ни одной, но зато у Пансы книг — полки три, мать собирает. Спросил, конечно, давно ли он пьет, сколько именно и почему.

Пьет с шестого класса, что придется, но предпочитает вино «не кислое». Хватает бутылки или полторы. «Когда пьешь, то поднимается настроение и жизнь кажется красивой».

Спросил, снова вернувшись к тому вечеру, зачем же они стали еще, в третий раз, бить человека, уже свалив его в канаву.

Оказалось, что, когда снимали с него телогрейку, он опять «что-то бормотал». Ну, тогда колом по голове. Потом Панса пощупал пульс, сказал, что пульса, кажется, нет.

Через три дня вернулись туда с четырнадцатилетней Леной. И с лопатой.

Наконец, я спросил у Жени, какого наказания он заслуживает за то, что лишил жизни человека. Женя ответил, что лет шесть, не больше. Колом-то Панса бил. Он — только ногами.

Что добавил мне Саша по кличке Панса? Биография у него та же, только отца нет, где-то пропадает. Сказал, что лежавший на перроне человек, избитый ими, раздражал его, и он ударил его «ногой с наката, чтобы поднять».

— Хотел бы ты найти отца? — спросил я его (зная, что отца Саша не знает), уцепившись за призрачную возможность понять, почему же он такой.

— Хотел, — ответил Саша-Панса. — Чтобы врезать ему.

Еще я спросил, мучила ли его совесть потом, ведь он лишил жизни — вот так запросто — другого человека.

Саша-Панса поспешно сказал, что да, мучила.

— Но почему же вы с Женей, уже после убийства, обокрали дачу?

— Да погулять вполне хотелось. Знали, что все равно посадят.

Саша-Панса на вид казался старше своего приятеля Жени, говорил, чему-то все время улыбаясь, и несколько раз повторил, как заклинание: «я — злопамятный, я — злопамятный». Я спросил, что это значит. Он ответил, что не забудет тех, кто указал на него. Да, он открыто хвастался среди деревенских, что «замочили мужика», но был уверен, что никто не назовет его милиции. А называли почти все, когда выяснилось, что это не просто болтовня подростка.

Встретился я с еще одним человеком, с четырнадцатилетней Леной. Она рассказала о том вечере:

— Мы поехали к Ольге во Фрязево с ребятами. С гитарой и бутылкой вина. Выпили. Потом Женька копилку Ольгину разбил. Там рубля два или три было. Потом Сашка обиделся. Он такой. Ему поперек слова не скажи.

— Много ли пьют ребята?

— Немного, но каждый день. Да многие пьют, — вздохнула она, махнув рукой.

— Что было потом? Через три дня?

— Они сказали, что дядьку убили. И мы пошли его закапывать. Только я боялась близко подходить.

Я спросил, были ли они уверены, что Лена, узнав такое, не побежит тут же в милицию?

Лена ответила, что да, конечно. Джека и Панса были в ней уверены. У нее такой характер. Ну, твердый.

— Лена, а от кого ты узнала, что милиция уже ищет преступников?

— Пришел крестный и сказал: «Там раскопали убитого. Иди посмотри».

— И ты не собиралась назвать ребят?

— Нет, конечно...

Лена по возрасту не подходит под статью уголовного кодекса за недонесение о преступлении. Поэтому ее поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних и обсудили в классе. Когда голосовали за то, чтобы «ее обвинить» (так она выразилась), то руку подняла только одна девочка. «Бывшая подруга», — презрительно сказала Лена. Остальные воздержались.

— Как ты живешь сейчас? О чем думаешь?

— Готовлюсь в комсомол. В четверг будут рекомендовать, — ответила Лена.

И тогда я спросил, ну хоть на капельку жалко ей того человека, которого так просто, без всякой цели, без повода убили ее приятели.

Лена, подумав, обстоятельно начала:

— В принципе, человек не работал, систематически пил... — Она задумалась, подыскивая слова, но я быстро перевел разговор на другое. Спросил, то ли кем она хочет стать, то ли какие песни любит петь.

...На этом кончаются мои блокнотные записи. Я знал, что только теперь мне и надо начинать работу, только теперь, после бесед с участниками этой истории, мне и надо начинать свой журналистский поиск.

Уйти в Ногинское РУВД и спросить, как могло случиться, что в течение полутора лет группа подростков совершала одно преступление за другим, оставаясь безнаказанной? Были ли зафиксированы в документах все эти «избитые», которые часто попадались на дороге нашим «злым подросткам»? Искали ли тех, кто проломил голову одному, ограбил другого, третьего? Ведь не матерые уголовники воровали, грабили, нападали на людей, — мальчишки! Еще мне необходимо было спросить, как могло случиться, что Женя-Джека, находясь под следствием (один раз все-таки уличили, задержали, вызвали), решается на убийство, даже не вспомнив, что он под следствием, что его уже допрашивали и ему грозит суд? Что же это были за беседы и допросы, если они оставили подростка равнодушным? И почему человек, отбыв срок заключения за тунеядство, вновь нигде не работает? Болтается по деревне, стоит у магазина... Почему им никто не интересуется? Есть вообще хозяева в деревне или нет? Подростки по вечерам выходят «на охоту» (с целью развлечься, провести время), и никто не бьет тревогу? Все это надо было спросить в Ногинской районной милиции.

Но, перечитав еще раз записи в блокноте, вспомнив лица этих ребят, в которых я не заметил ни особой жестокости, ни слабоумия, ни холодной ухмылки убийц, я догадался, что все мои завтрашние собеседники и в милиции, и в школе, и в ПТУ, и в семье будут пожимать плечами и удивляться: вроде бы обычные пацаны, болтаются где попало, разве за ними уследишь и т. д. И я понял, что дальше никуда не пойду.

Хватит и того, что узнал. Хватит.

Хватит нам заниматься арифметикой, считая, как на счетах: минус школа, плюс улица; минус милиция, плюс вино; минус отец, плюс пьяный сосед, являющийся дурной пример, и т. д.

Можно все посчитать, привести к общему знаменателю, потом — наказать кого надо, сделать выводы, успокоить свою совесть, но не успеешь оглянуться — выходят на вечернюю тропинку новые Панса и Джека, не смотрят и не видят лица другого человека, бьют наотмашь, подминают ногами. Не понимая, что перед ними — не «жертва», «не объект развлечения от скуки», а человек.

Публицист обязан отвечать на те вопросы, которые ставит, пряча внутри свою горечь от того, что в сотый раз исследует похожий случай, и пафос его завтрашней статьи снова «пробьет куда-то мимо цели»... Ни семья, ни школа не возьмут на себя вины, разве что накажут двух-трех работников милиции. Вздохнут парни, узнав про очередной выговор, и снова — на выезд к месту происшествия... Нет, надоело бесконечное вязкое копание в одном и том же. И не ради двух «недоданных» выговоров писал я это.

Я хочу понять, когда выходят эти подростки на тропу? Еще не нажив человеческого багажа или уже растеряв его? Почему им все равно: что банку сгущенки украсть, что человека «замочить»?

Где, в какой стадии, общество теряет людей?

...Помню, несколько лет назад я вот так же, глаза в глаза, сидел напротив шестнадцатилетних убийц в кубанской станице. Они были совсем другими — благополучные, хорошо одетые, выпускники лучшей школы в районе. Но они тоже забили ногами незнакомого человека, которого привлекли светящиеся окна и музыка выпускного вечера. Просто так забили, чтобы не лез в чужое веселье. И они тоже были возбуждены своей «лихостью» и бегали от стола в кусты возле школьного забора: пощупать пульс. Жив? Пока жив? Еще жив? Тех ребят нельзя было упрекнуть в серости, их полки ломились от книг, а один из них даже сказал, что больше всего любит Баха. Но они были

точно такими же, с убитой душой. Когда я выпытывал у каждого, что он делал «после», то каждый — а их было девять — ответил, что пришел домой и лег спать. И только один сказал, что заплакал. Да и то, наверное, потому, что рушилась его мечта о престижном институте.

Помню еще подростков в третьем городе, которые свою ночную охоту называли кратко и без проблеска сантиментов: «сявок гонять».

Что происходит? Когда и где теряем? Или не успеваем вдохнуть в них живую душу?

Помню тот многотысячный поток писем (сам их разбирал), который хлынул после публикации у нас, в «Литгазете», статьи Эдуарда Успенского «Кому мешал Гай Цезарь?».

Судьба убитого сенбернара взбудоражила коллективы институтов и фабрик, многодетных матерей и пионерские отряды. Почта была трогательной и требовательной: мы не учим доброте, мы не учим уважению к живому, мы не учим сочувствию к страданию.

Из этих писем можно было создать гимн животному. Тому, что живо, тому, что дышит.

Но я помню, в этой огромной кипе писем, еле уместившейся в наших шкафах, письмо человека, который, вылив весь свой гнев в адрес подонков, забивших пса, вдруг написал горестное: «А заставит ли меня не спать всю ночь статья об убийстве человека? Не знаю. Не уверен».

Я долго думал над этим письмом и пытался объяснить себе, почему общественный трепет по поводу трагедии в мире животных куда выше и эмоциональнее реакции на подобную же трагедию в нашем, человеческом мире? Ведь в защиту Гая Цезаря встали не потому, что у него есть медали с собачьей выставки, точно так же вскидываются люди в защиту простой дворняги.

И в конце концов понял, что тот привязанный к дереву

пес — это просто живое. Живое, и все. То живое, которое требует от нас минимума душевных сил. Ведь мы любим живое! Даже можем понять его, живое. Оно ждет нашей ласки! Оно беззащитно перед нами. Собака не напьяется, не оскорбит нас (разве что укусит, если не привязать), не будет с нами спорить. Собака не может быть «сявкой». Разве что шавкой, а это не так обидно. Одним словом, пожалеть ее нам ничего не стоит.

А на сочувствие к человеку требуется куда больше душевной энергии и социального опыта — может, в этом причина?

Джека и Панса еще не нажили того и другого, четырнадцатилетняя Лена даже берется судить, кого «можно», кого «нельзя»...

А мы, взрослые, умудренные, пожившие, все видевшие, устаем сочувствовать всем и каждому, порой даже одному-единственному... На всех, мол, не напасешься сочувствия, авось меня беда минует... А дети видят эту нашу усталость и толкуют ее по-своему, подумав, мол, кого-то нашли в канаве... «Иди, посмотри», — сказал крестный, и эта фраза, мне кажется, проясняет ситуацию точнее, чем научное исследование. Он, крестный, сам никого не убил, но он передал в этой фразе свой опыт социального равнодушия. А этот вирус доморощенный живет в нас и вокруг нас, поражая детей в первую очередь и вызывая в них осложнения и метастазы, которые долго не видны снаружи...

Знаю по опыту, что вызывать «ко всем сразу» — мало толку. Никто не отнесет горький упрек к себе лично. И все же не вижу другого выхода, как спросить себя самого и остальных всех: почему позволяем себе терять ребят? Я не знаю, сколько их, я не считал, но ведь не в количестве дело. В каком возрасте они пропадают как люди, чего недодаем мы им из духовной пищи? Или чем пере-

кармливаем из несъедобного? Сегодня я не знаю, как ответить на эти вопросы. Пока мне ясно одно: мужчина довоенного 40-го года рождения забит мальчишками абсолютно мирного, 68-го.

Что с нами происходит?

...Иду по пустынной вечерней улице. Вечер покачивает фонари. Гаснут одно за одним окна в домах. Они идут навстречу: неуклюжие походки, громкие голоса, резкие движения. Пройдут мимо, спросят закурить? Остановятся?

Я не знаю, что они сделают в следующий момент, да и сами они не всегда знают. Скорее всего — пройдут мимо. Но могут и не пройти.

Кто они? Как поступят?

Слишком поздно говорить с ними тогда, когда дух стаи, а не человеческого сообщества сплотит их. Слишком поздно убеждать их, когда не убедили в раннем-раннем детстве, в шестом классе, в юности. Да и наносить ответный удар в известном смысле — бесполезно. Найдут следующего. Кто послабее.

Пока они рядом с нами: сын, младший брат, соседский мальчишка — надо быть рядом с ними. Пока они не ушли от нас, надо, чтобы от нас не ушли. Пока мы еще можем остановить их, надо останавливать. Взглянуть внимательно на того, кто рядом и кто младше. Пока не поздно.

...Я прочитал эти строчки и понял, что решения, которые предлагаю, никого не убедят, скажет кто-то, что эти меры совершенно сиюминутны. Надо уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Да, но как?

Может быть, выход в устранении очевидных, лежащих на поверхности социальных погрешностей и неувязок? Хотя бы пока, сегодня — до обнаружения глубинных явлений, мешающих обществу.

Например, преступной процентомании в школе, вязкой и неистребимой, о которой принято говорить и писать как о некой досадной странности, мешающей учебному процессу, а ведь это — обман, совершающийся десять лет подряд на глазах у подрастающего поколения и разъедающий души ребят как бы само собой разумеющимся правилом: «можно и нужно то, что приятно и выгодно», — и это выпускник школы усваивает надолго, если не навсегда.

А парадная формалистика с ее неумной жаждой не дело делать, а «рапортовать»?

А несправедливое и непродуманное распределение материальных благ, порождающее скверные анекдоты и общественное уныние?

И следующее за всем этим расслоение общества?

Я понимаю, что затронул только верхушку айсберга.

А пока...

Они идут навстречу, и ветер раскачивает фонари над засыпающей улицей. Они все ближе и ближе. Пройдут мимо? Остановятся?..

СПАСАТЕЛЬ

Колю арестовали ясным летним днем.

Мир за окнами был просторен и приветлив, а стал угрюм и тесен, когда прямо в цех пришли два милиционера и сказали Коле: «Собирайся. Пойдешь с нами».

Токарь-универсал 6-го разряда Петр Григорьевич Любченко не видел, как уводили Колю: как назло, он пошел в это время в мастерскую за кругляком и поэтому не знал, какие были у Коли глаза и искали ли эти глаза его, Любченко.

Он еще не знал, что произошло, но уже понял: пришла беда. И с этой минуты почувствовал, что спокойно ему не жить.

Он едва дождался конца смены и, не заходя домой, помчался в горотдел милиции (благо там работал знакомый). Знакомый выслушал, куда-то позвонил, к кому-то сходил и, вернувшись, сказал: «Серьезные у него, Петя, дела».

«Что же случилось? Кто виноват в том, что случилось?» — спрашивал себя Петр Григорьевич Любченко, потому что спрашивать было больше не у кого. «Ты», — отвечал он сам себе.

Любченко понимал: надо что-то делать, куда-то писать, звонить, с кем-то говорить. Но не знал с кем. «Это мы просмотрели парня», — сказал он старшему мастеру. «Ну просмотрели», — согласился старший мастер. Он пошел к начальнику цеха. «Ну а мы-то что?» — пожал тот плечами и написал на Колю убийственную характеристику. Ну ясное дело, не в аспирантуру писалась характеристика, и даже не в вечернюю школу — в суд.

Петру Григорьевичу очень хотелось быть на суде, но его не пустили, потому что суд шел при закрытых дверях.

Месяца четыре он ходил сам не свой. Люди ему близкие и люди посторонние не могли понять, что это с ним: «Ну посадили, так посадили. Подумаешь, дело. Посидит — выйдет. Не сына же в конце концов посадили», тем более и сына-то у Любченко не было, а росли две дочери.

Но что-то в нем сопротивлялось этой понятной, житейской точке зрения. Он не мог найти себе места и наконец понял, что это будет до тех пор, пока он не узнает, где сейчас находится Коля, и не протянет к нему единственно возможную в данном положении нить — почтовую.

Он сел в дальний автобус и поехал к Коле домой: узнать адрес колонии. То, что увидел у него дома, опечалило его и рассердило, и хотя он уже был в этом доме раньше, до ареста, и был готов к тому, что встретят его пьяный отчим Коли и, увы, нетрезвая мать, все равно,

когда он услышал: «Ого, гость приехал, беги за бутылкой» — и совсем еще девчонка, Колина сестра, привычно направилась к двери, он понял, что вот-вот сорвется. Поэтому, узнав, что писем сюда Коля не пишет и нового его адреса здесь еще нет, Петр Григорьевич уехал, почти не сказав этому дому ни слова.

Тогда Любченко подумал и решил, что адрес колонии должен быть у девушки, с которой Коля «ходил» — черт знает, что за язык у этих семнадцатилетних! Он начал искать эту девушку.

И, представьте себе, нашел. Девушка удивилась, посмотрела на него с некоторым подозрением, но адрес дала.

Осенние холодные ветра, как отбившиеся от рук подростки, носились по городу. Был вечер. Петр Григорьевич сидел за столом и писал письмо в колонию. Нелегко было ему в те минуты. Ведь надо было не просто вывести на бумаге: «Здравствуй, Коля. Пишет тебе... Ну, как ты там»... и так далее, а собрать слова в чуткий организм, который может...

Что в принципе может слово?

На что он надеялся?

«Здравствуйте, Петр Григорьевич! Пишет вам воспитатель колонии. Письмо, адресованное вашему воспитаннику, получили и потом прочитали перед всем отрядом (извините за смелость). За два года работы мне не пришлось парням нашим читать такие письма. Лично я был растроган, передалось мое состояние и воспитанникам. Я уверен, что кто-то из них напишет вам письмо, кроме Николая и меня... Он говорит, что вы ему очень помогли в свое время, но не согласен с тем, что он попал в нашу колонию по вашему недосмотру. Говорит, сам виноват, самому и ответ держать...» — таким было первое письмо, пришедшее в дом Любченко.

Потом письмо пришло и от Коли.

Это была еще очень слабая ниточка между ними, скорее, даже не ниточка, а так — порыв воздуха, легкий вздох навстречу. Но какая надежда была в таком легком вздохе! И этой легкой надежды Петру Григорьевичу было вполне достаточно.

Но правда ли это? Так ли уж необходим был этот легкий, можно сказать, призрачный вздох надежды для жизни Петра Григорьевича Любченко? Мало ли ему забот было без этого? Каковы же были мотивы его поступков?

Знаете, мне показалось, что себя, именно себя считает Любченко виновным в том, что однажды Коля вместе с двумя своими приятелями совершил тяжкое преступление. Не родителей, не милицию, не общественность, не старшего мастера, не начальника цеха, не комитет комсомола, не сотни людей, которые окружали парня каждый день и час и влияют на формирование личности. Только себя.

Цитирую:

«У меня не было педагогического такта». «Я мог сорваться и накричать на него». И совсем уж для себя жестокое: «Так какой же из меня педагог, учитель! Дали мне четверых учеников, а если бы я четверых загубил?!»

Но что он один, кто он такой? Да и что значит «такой»? Любченко воспитал многих ребят и поэтому имеет право серьезно и размышлять о проблемах наставничества, важных не для него одного, для всех, об огромном дефиците знаний и способностей, без которых не то что ученика — себя не воспитаешь.

Но за этим общественным зрением есть и его личное, собственное.

Вот маленькая история о том, как сам Любченко однажды оказался 13-м учеником.

В 1957 году он пришел первый раз на завод и дали ему тоже наставника (хотя, наверное, в те годы это все называлось иначе). «Наставник» любил выпить и полдня

занимался тем, что зарабатывал левые деньги. В первый же день для «крещения» он попытался послать за водкой своего нового ученика. Тот отказался. «Двенадцать учеников выпустил — никто не противился. А этот, 13-й попался», — со злостью и удивлением сказал «наставник».

— Теперь я его часто вижу в городе, — говорит Петр Григорьевич. — Я отворачиваюсь в сторону, и он отворачивается.

Вот чем мерит себя и своих учеников Петр Григорьевич! Вот какими категориями! Чтоб никто завтра, послезавтра, в далеком и прекрасном будущем не смог отвернуться от него, и чтобы сам он ни от кого не мог отвести глаза. И вот почему, оставь он Колю сейчас, забудь о нем, это отозвалось бы в нем почти физической болью.

Так надо ли искать мотивы, превратившие токаря-универсала Любченко в Спасателя? Ведь не будешь же размышлять, откуда в душе человека остается место еще и для обостренной совести? Она или есть, или ее нет.

А ведь если следовать житейской логике, то ничто не могло связывать Петра Григорьевича с Колей. Наставником-то его никто и не назначал. Просто в один из зимних дней пришла к Любченко женщина из соседнего цеха и сказала: «Петр Григорьевич, вот парень совсем отбился от рук. Возьми его к себе учеником». Любченко подумал и взял. Трое учеников у него уже было, а где три, там и четыре.

Увиделся Любченко с Колей уже там, в колонии, примерно через год. Случилось это так.

К тому времени Коле уже исполнилось восемнадцать лет и его перевели в другую колонию — исправительно-трудовую, взрослую, отбывать срок дальше. На конвертах появился новый адрес. Как-то раз в августе, получив письмо, Петр Григорьевич понял, что Коля хандрит, и хандрит сильно. Он знал, что колония — не курорт и массовики-

...адейники там по штату не положены. Но он знал также — и доказательством тому был его собственный жизненный опыт, — что, в какую бы ситуацию ни попал человек, неплохо, если начинает ломаться его дух, потому что вслед за духом может сломаться и душа. А это непоправимо.

Но тут, к счастью, подошло у него время отпуска. Путевки в какой-нибудь далекий южный город не было. «Проторчать весь отпуск в городе?» — подумал Петр Григорьевич. Он сел в поезд и поехал к Коле, в колонию.

В том городке шел дождь. Как всегда в такую погоду, болел позвоночник, и Любченко знал, раз уж начал — то это надолго. Уже два десятилетия после одной катастрофы позвоночник вполне заменял ему службу гидрометеоцентра.

Опираясь на палочку — «на эту проклятую тросточку», как называл он ее сам, он потихоньку добрался от станции до колонии.

К Коле его не пустили, и вечером он вернулся на станцию.

В гостиницу он устроиться не смог и ночевал на скамейке в зале ожидания, подложив под голову чемодан с книгами, которые привез Коле. Подошел милиционер, спросил, кто он и зачем он здесь. Петр Григорьевич объяснил, как мог. Милиционер посмотрел на чемодан, на руки этого человека, на палочку, прислоненную к спинке скамейки и отошел.

Утром Петр Григорьевич снова был в колонии.

— Ну что вы здесь все ходите?! Что вам здесь надо? Все равно мы вас сюда не пустим! — остановил его в дверях своего кабинета капитан. — Кто вы такой, в конце концов! — уже совсем рассерженно воскликнул он.

Любченко подумал и ответил:

— Я — рабочий... Коммунист... Наставник... Бывший наставник этого пацана...

И эту ночь провел Спасатель на вокзале. И еще одну. Он понимал, что колония — это колония, что инструкция — это инструкция, что в конце концов он не родственник Коле и поэтому не положено ему свидание. Но оттого, что он понимал это, было не менее обидно.

Наконец, на четвертый день Любченко прорвался в кабинет заместителя начальника колонии с твердой целью не уходить отсюда, пока не увидится с Колей. Но когда уже в десятый раз начал объяснять, кто он, зачем и почему, то вдруг заметил в глазах майора даже некоторый интерес и удивление одновременно.

— Ладно, — сказал он. — Я разрешу вам свидание. На двадцать минут.

Потом Петр Григорьевич сидел в комнате и ждал Колю. Рядом с ним был молодой офицер. Потом в комнату зашли еще трое офицеров, и во всех глазах он читал такой же интерес и такое же удивление, как и в глазах майора.

Коля прибежал минут через пять. Он зашел в комнату и растерялся. «Ну, давай, Коля, садись поближе», — сказал Спасатель и тут увидел, что Коля дрожит, смеется и плачет сквозь смех.

Он тогда возвратился домой, и хоть немного обиды осталось, но понимал: что-то удалось, Колю пообещали поставить работать на токарный станок.

А дни шли и шли.

«...Вышлите бандеролью книги по токарному мастерству и обязательно книгу «Токарное дело». А то я сколько в библиотеке ни искал, так и не нашел...»

«...Теперь вот что хотел узнать, а вернее, спросить, как вы обрабатываете алюминий, на каких оборотах, с какой подачей и какими резцами...»

«...В декабре делал гайки с винтом. С ленточной резбой гайку я нарезал на 200 об/мин, а сейчас эту же гайку

нарезано на 500 об/мин. Правда, перед тем как нарезать, приходится немало подтягивать фрикцион. Одним словом, кое-что получается. Ну а ко мне родичи так и не приехали. Я им уже три месяца не пишу, также и они мне. Да я уже про них как-то и позабыл. Времени нет их вспоминать...»

«...Стал больше присматриваться к людям, как они жили раньше, почему они оказались здесь и т. д. Я слушаю теперь их внимательно, можно сказать, почти припужденно. Иногда задаю себе вопрос: «Зачем мне все это?» А оно мне для того, чтобы потом не сделать таких же ошибок, как они. Это, наверное, у меня такой возраст, когда приходится много о чем передумывать и давать оценку своим прожитым дням, недели, месяцу, году. И как жить дальше, в оставшееся время...»

«Петр Григорьевич, я сейчас намного быстрее и качественнее работаю, чем взять хотя бы январь. Если еще в январе не полностью, а вернее, толком не мог обработать алюминий, то сейчас — будь здоров! Алюминий для меня, можно сказать, как дерево...»

«...Мои родичи уже второй год все едут из Кустаная, так и не доедут. Что-то мне кажется, что они спились. Я написал им несколько писем, чтобы оставили меня в покое со своими делами и заботами. Мне такие родичи в данное время не нужны. Как-нибудь перебыюсь...»

«...Вот у меня, можно сказать, большие планы на будущее. Я знаю, что все не получится, но что-то возле этого будет, и даже много чего. Мне сейчас некому писать, кроме вас, а как выберу время, так и не знаю, с чего начать. А как много чего охота вам высказать, все до ниточки, а вот написать все как-то гораздо труднее, а почему — и сам не знаю...»

«...Искупить вину и выполнить долг — это большая разница. Долг — это обязанность каждого, а искупить вину —

это значит заработать честным трудом свободу, забыть прошлое, научиться трезво смотреть на жизнь, а не сквозь пальцы, как было раньше...»

Эти и другие письма лежали стопкой на столе дома у Петра Григорьевича. Мне хочется, чтобы и вы почувствовали то, что почувствовал я сам, когда (уже потом взяв разрешение у Коли) переписывал их в блокнот: напряжение обратной связи — термин, вдруг ставший сегодня популярным. То есть чтобы за этими... ну пусть даже корявыми строчками представили вы другие строки, написанные в других письмах: туда, в колонию. Чтобы вы увидели другие слова, вызвавшие эту обратную связь.

Читал я письма долго. Петр Григорьевич входил, потом снова выходил из комнаты, что-то там делал, о чем-то разговаривал с женой, с дочерьми. Потом мы вдруг принялись говорить на почти вечные темы: откуда берется жестокость у ребят, что делать с хулиганами, что хулиганы делают на улицах и так далее.

А потом Петр Григорьевич сказал вот что:

— Вы сейчас поедете в колонию — поговорите с Колькой. Он написал, что конфликт у него произошел с парнем, который работает с ним на одном станке. Станок, пишет Колька, он не убирает после себя. А Колька научился ценить станок. Это новое в нем. Ох, как бы он дров не наломал, не подрался с тем парнем.

Это было сказано о Коле.

И тогда я понял, чем же он так привлекателен, Спасатель. Мы только тогда вправе говорить о них обо всех, когда сами спасем хотя бы одного. А в противном случае остаются лишь одни декларации — бесполезные, просто словесная шелуха.

Петр Григорьевич Любченко стал Спасателем именно потому, что он замкнул на своем сердце две жизни Коли — сегодняшнюю и будущую, точно так же, как, наверное,

во время войны связисты соединяли своими телами два провода, через себя пропуская голоса людей.

В комитете комсомола камвольно-суконного комбината, откуда ясным летним днем два милиционера увели Колю, его уже никто не помнит. Да что его... Я взял с собой список молодых людей, осужденных в том же году, что и Коля. Одну за одной называл я фамилии, и руководители комсомольской организации комбината пожимали плечами: «Нет, не помним... Вроде бы фамилия знакомая. Да нет, тот другой...» Потом кто-то произнес: «Да, это еще неизученный вопрос...» И я подумал о том, что, наверное, справедливо свойство человеческой памяти забывать все плохое и в такой же степени несправедливо свойство памяти коллектива людей.

Но есть, есть Любченко!

Теперь мне хочется дать свой ответ на этот вопрос — что такое Спасатель, — потому что Спасатель — в широком значении этого слова — это не только человек, протягивающий руку пацану, попавшему в колонию, то есть потерпевшему серьезную аварию на жизненном пути, но и тот, кто в один прекрасный день стал нашим учителем, кто не бросит нас в житейском несчастье, кто не усмехнется криво, когда вдруг нам повезло.

Но что касается Петра Григорьевича Любченко, то у меня есть свой ответ на вопрос, кто же в состоянии стать человеком, о котором мы скажем: да, это — Спасатель!

Только для этого я расскажу еще одну историю из жизни Любченко, которая на первый взгляд вырывается из общего хода повествования, но на самом-то деле имеет к Колиной судьбе самое прямое отношение.

Это история о том, как Любченко уезжал на БАМ.

Цитирую блокнот:

«Надумал я уходить с комбината, но в Кустанае, думал я тогда, работать мне негде. Дай-ка, решил я, тоже

уеду на стройку века, на БАМ. Может быть, на что-нибудь сгожусь. Была у меня на примете одна станция, и поехал я туда. Приехал. А кабинет председателя горисполкома забит до предела. Оказывается, совсем недавно выступал он в «Известиях», и тут же все к нему понаехали. Он сидит, бедный, отбивается: «Ну не звал же я всех этой статьей, товарищи! Ошибка вышла! Вам и работать негде, и жить!» Потолкался я там, и сказали мне, поезжай в Магистральный, там токаря нужны.

Приехал. Познакомился. Сказали мне, иди получай себе постельные принадлежности, матрас и так далее. А где получать? — спросил я. Да здесь недалеко, десять километров.

Два часа я тянул эту постель и не дотянул до общежития. Приехал врач. Говорит мне: куда же вы приехали? Уезжайте отсюда домой! Куда вам здесь с вашим позвоночником! Вам же не 25, а 45 лет. Ну понимаю — надо уезжать. Ребята сделали мне эту проклятую тросточку. Иду, а тяжело. Чемодан меня перевешивает, потому что в нем — килограммов тридцать. Мой токарный инструмент.

Ну ладно. Дальше. Сажу в Нижнеангарске, в аэропорту. Подходит ко мне какой-то парень и вдруг спрашивает: «Ты не токарь?» — и смотрит на мои руки. Отвечаю: токарь. Он обрадовался. Говорит, что им как раз токаря нужны. Поехал с ним ради спортивного интереса. Пришлось подниматься семьдесят километров в горы. Мошка жужжит, а у меня аллергия еще к тому же — вся рука опухла. И я вернулся.

Зря вы все это записываете! Это же смех, а не поездка. Переоценил я свои силы...»

Ну а что же рассказывать о том, что не удалось? Стоит ли? Стоит. Мы привыкли оценивать человека по состоявшимся поступкам. Но как важно оценить человека и по тому, что он задумал сделать, по его помыслам. Насколь-

но они чисты? Насколько высоки? Насколько приблизят новые поступки?

Наверное, от отчаяния уезжал Петр Григорьевич на ВДВ. К этому времени он ушел с камвольно-суконного комбината. Ушел просто так — не на «новую службу», а тогда, когда должен был противостоять и противостоял практике «левых» доходов руководителей своего цеха. Тогда, когда он добился правды — и как коммунист, и как народный контролер, но и эта правда, и он сам — ее носитель — кое-кому на комбинате показались лишними.

Да, наверное, это был шаг отчаяния, но, согласитесь, и отчаиваться-то из-за настоящего умеет не каждый.

Мне кажется, что Коля должен понять этот отчаянный поступок, потому что разве может быть Спасателем человек, равнодушный к злу?

«Я знаю токарей, которые, дабы доказать свое мастерство, из одного куска металла по особой технологии точили полый шар. В стенках его сверлили шесть отверстий и вытачивали несколько шаров. Те свободно перекатывались внутри шара, но через окна не выпадали. Сделать это могли лишь отдельные классные токаря. Нужны большое терпение, долголетний опыт и главное — любовь к раз и навсегда избранной профессии».

Больше того, имя токаря увековечено в энциклопедии. Это из статьи, которая опубликована П. Г. Любченко в областной газете недавно, уже в новом качестве, на новой работе — в экспериментальном производстве при конструкторском бюро в ЦелинНИИМЭСХ — научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. И пусть название это звучит так длинно, под статьей стоит та же, как всегда, подпись — токарь-универсал.

Любченко верен себе.

Человек, не верящий ни во что, не может отстоять веру

во что-нибудь. Человек, забывающий свои убеждения, не докажет свои убеждения другому человеку, а если и докажет, то только во вред этому другому. Человек, обманывающий самого себя, оставит в душе другого человека не высокую идею, а лишь пустые надежды.

Вот почему, мне кажется, имел право стать — и стал! — Спасателем Петр Григорьевич Любченко.

Но спасет ли это Колю?

Я был у него в колонии. Мы сидели с ним и разговаривали о жизни, которая была, которая есть и которая будет потом.

Я спросил у Коли, показывает ли он письма, которые получает от Петра Григорьевича Любченко, тем своим ровесникам, которые вместе с ним отбывают срок заключения.

Коля ответил, что сначала показывал и у всех лезли — по его словам — шары на лоб, потому что как это — посторонний человек, а пишет, да еще приезжает. Потом показывать перестал, потому что надоело всем объяснять, что это за «посторонний человек», да и некоторые начали советовать «не связываться с этими наставниками».

Еще Коля вспомнил, что Петр Григорьевич тогда, на комбинате, принес в цех цветы. Чтобы было красиво. «Но в то время я еще ничего не понимал», — добавил он.

Недавно Коле исполнилось двадцать лет.

Замечаний у него, сказал капитан (тот самый), нет...

В город я вернулся поздно вечером, и когда уже пришел в гостиницу и поднимался по лестнице, то боковым зрением заметил, как с диванчика возле дежурной встает и идет за мной Петр Григорьевич.

— Я знал, что вы вернетесь сегодня, — сказал он мне. — А телефона-то у меня нет. Как там у Кольки с тем парнем, сменщиком? Не подерется он с ним из-за станка?

Как-то во время нашего разговора я его спросил:

— Петр Григорьевич, ну а все-таки, какие моменты в нашей жизни вы считаете для себя счастливыми?

— Счастливыми? — переспросил он и задумался. — Да вот, когда эту железку сделали, — показал он станок еще с прежней работы на камвольно-суконном комбинате, который до сих пор стоит в уголке его комнаты.

— Ну а история с Колей?

— С Колей... — Петр Григорьевич задумался, посмотрел, нет, не на пачку писем, которые лежали на столе, а куда-то за окно, на окна соседних домов, поверх этих окон. — Коля... Как там у него кончится, думаете, я знаю? Хочется знать, а вдруг? Вдруг он ожесточится? Вот если бы можно было брать их оттуда под расписку — взял бы Кольку, не сомневаясь. Но ведь так нельзя же. Нельзя же, а?

У Петра Григорьевича Любченко сто пятьдесят рационализаторских предложений. О нем пишут в газетах, фотографии его висят на Доске почета, его приглашают в президиум и выбирают во всякие общественные органы, самолеты уносят его на разные представительные конференции. Он ведет дневник — уже давно, много лет, фиксируя в больших с клеенчатыми переплетами, общих тетрадях те мгновения, которые, он уверен, кому-то еще кроме него должны быть интересны.

Он не боится жизни, не боится рискнуть потерять то, что есть сегодня, что уже достигнуто, признано, оценено кем-то.

Есть дело, есть семья, есть ученики.

И еще вот такой Колька.

В его комнате стоит железная кровать — жесткая, удобная для позвоночника. Возле нее — станок, «железка». В углу — чемодан с инструментами и токарными приспособлениями, которые нужно с оказией отправить туда, в

колонию. За стеклом книжного шкафа прикреплена газетная вырезка — фотография Стаханова.

И жизнь продолжается.

У РЕКИ

То, что в ясный и солнечный день, в двух шагах от городского Дворца пионеров, в кустах у реки не было совершено убийство, — чистая случайность. Прошел бы кухонный нож несколькими сантиметрами левее и выше — быть беде. Траектория глупой железки спасла шестнадцатилетнего Александра Зыбина от гибели. Волей случая не стал убийцей шестнадцатилетний Андрей Хлыбов.

Об этом я думал, когда, стараясь не поскользнуться, пробирался от реки наверх, а потом, поднявшись, пересекал открытое пространство, отделявшее землю от асфальта. В февральском снеге растворились, как не были, те несколько августовских минут, после которых потерпевший Зыбин попал на шестнадцать дней в больницу, а преступник Хлыбов — на пять лет в колонию усиленного режима.

— Ну что? — спрашивал я сам себя. — Теперь понятно, что произошло здесь?

Да, я пролистал кипу бумаг в уголовном деле, встретился с десятком людей, знал по минутам, кто где стоял, кто куда повернулся и кто в какую сторону побежал. Но оказавшись на месте преступления, сейчас уже голом, заснеженном, я отчетливо понял, что, зная все, не понимаю главного. И поэтому мне не то что трудно — невозможно себе представить, чтобы так, среди бела дня, почти на виду...

Пытаюсь восстановить в памяти то, что знаю. Утром 28 августа потерпевший Зыбин попросил у матери деньги, недостающую до нужной суммы двадцатку. Сначала

мать не дала, тогда он заплакал и сквозь слезы сказал, что у всех, кроме него, есть джинсы. Слезы помогли. Зыбин вылетел с деньгами на улицу. Несколько часов он провел в пустой квартире Валерия Попова. Они то ли играли в карты (показания Попова на следствии), то ли смотрели телевизор (его же, более приглашенные, на суде). Потом — вместе с Валерием — вышли на улицу, пересекли двор. Был полдень.

Хлыбов с самого утра сидел дома: «необыкновенно возбужден, шутил, смеялся» (отец — суду). Время для встречи с Зыбиным — полдень — он назначил сам. Положил в карман брюк кухонный нож. Вышел во двор. У подъезда Зыбин протянул ему деньги, сказал, что иначе он их потеряет. Втроем они пересекли двор, мирно и даже весело разговаривая друг с другом. Так, дальше... Дошли до речки, повернули налево, вдоль берега. Потом... Потом и случилось то, что случилось...

«Зыбин сказал мне, чтобы я шел за джинсами и принес ему, а он пока будет купаться. Я пошел в кусты, чтобы найти место, где убить Зыбина. Нашел и вернулся за ним. Зыбин уже искупался и вышел из реки. Я сказал, что джинсы надо примерить. Я и Зыбин по тропинке пошли в кусты. Зыбин шел немного впереди меня, я его поддерживал, чтобы он не упал. Когда я дошел до места, где задумал его убить, я сказал ему: «Подожди». Зыбин повернулся вполоборота в мою сторону. Я достал из кармана брюк нож и ударил два раза... Он побежал. Я следил за Зыбиным несколько шагов, но кусты кончились. Я повернулся и той же дорогой, какой пришел, вернулся обратно. Я пришел к матери на работу, все рассказал ей и отдал нож...»

Вот и все.

Не в драке, не в ослеплении, не обороняясь, а расчетливо и коварно обманул, привел, выбрал место...

Но что же, что же здесь не так? Чего не хватает в этой картинке, чтобы она приобрела полную, без единого облака, ясность?

Не хватает ерунды, нелепицы — джинсов.

Джинсов, за которыми Зыбин, как на веревочке, шел по дороге, указанной Хлыбовым, никогда не существовало в природе. У Хлыбова попросту не было возможности их достать. Сам он их тоже никогда не имел. Время и место он назначил не для купли-продажи — для убийства.

С того самого дня — за неделю до преступления, когда Хлыбов пообещал достать джинсы, Зыбин жил в предвкушении праздника. Я не оговорился и не преувеличил. Вместо джинсов мог бы быть модный диск, гитара или, скажем, мотоцикл, на котором, как на крыльях, промчишься мимо ошалелых прохожих. Знаем ли мы, что для них, подростков, означают эти вещи? Кусочек вселенной, которую они создают вокруг себя и в которой вертятся сами, или, может быть, что-то иное?

Я не хочу сказать, что, если бы Зыбин не потребовал от Хлыбова достать джинсы и Хлыбов не обещал ему, зная сам, что не выполнит своего обещания, тогда бы преступления не произошло. Нет, конечно же, нет. Но именно джинсы трагически окрасили взаимоотношения двух подростков в ту последнюю неделю. Взаимоотношения, которые тянулись куда дальше, чем за эту, последнюю неделю, до встречи у реки.

Потерпевший Зыбин больше года избивал преступника Хлыбова. Бил один и в компании с тем же, внешне тихоней и пай-мальчиком Валерием Поповым, бил у реки и возле школы, ногой в живот и кулаком по лицу, так просто, без особых предисловий и с издевательскими церемониями. Зыбин знал, что может пошевелинуть пальцем, и Хлыбов полетится за ним на водную станцию и будет терпеливо ждать, пока проведут короткое «деловое сове-

преступном поведении Зыбина. Но они так и остались «материалами», простой кипой бумажек, которая до сих пор пылится в стеном шкафу.

Они не только не приобщены к уголовному делу, следовательно, отказалась изучать их, ограничившись просто справкой из комиссии, просто констатацией, что Зыбин не был пай-мальчиком.

Суд выяснил, что Хлыбов однажды продал упаковку жвачки, однажды — пачку «Мальборо» кишиневского производства, однажды предложил (!) переписать за деньги магнитофонную кассету. Следствие заставило его вспомнить, ткнуло носом и в эту «жвачку», и в пачку сигарет, как нашкодившего щенка. И Хлыбов признал, что да, ладно, спекулировал, и вот — захотел убить Зыбина. Но только какая связь между спекуляцией и убийством? Он не видел этой связи. Взрослые — увидели или захотели увидеть.

Зыбин и компания его били. Следствие получило неоспоримые факты. И в отношении Зыбина и компании уголовное дело было возбуждено. Но тут же прекращено в связи с амнистией. Они были наказаны и прощены. Они так и не узнали, что, избивая Хлыбова, совершали преступление.

Из кабинета начальника следственного отдела УВД, в присутствии его и других, не менее ответственных работников милиции, я позвонил отцу Валерия Попова, ответственному работнику областного масштаба, извинился, что отрываю по такому пустяку, спросил напрямик, знает ли он, что его сын совершил преступление, но был амнистирован.

— Что-что? — слышалось в трубке. — Мой сын? Валерка? Откуда вы это взяли?

Я сослался на официальное постановление, оставшееся в деле, рассказал о суде и о том, какое именно преступле-

ние совершил его сын, и потом (по подсказке работников милиции) спросил, может быть, не он, так его жена знает об этом.

— Абсолютно исключено, — ответил он.

— Но хоть сам-то сын знает?

— Откуда...

Да, Валерий Попов не знал, что наказан. И Зыбин до сих пор не подозревает, что избивая Хлыбова, он совершал преступление.

Работники милиции выглядели растерянными — преступник не знает о наказании. Я посмотрел за окно, там был февральский ветер и стужа, и подумал не о том, что произошло после преступления и после суда, а о том, что происходило до преступления и до суда. Об этом дворе, в котором властвовала зыбинская компания, о Хлыбове, пересекающем двор, как под артобстрелом, о страхе одного и болезненном самолюбии другого, о потерпевших и преступниках, об их мире.

Он, Хлыбов, и не думал о том, как достать джинсы, не ходил по знакомым, не торчал в людных местах — авось появится какой-нибудь заезжий фарцовщик. Он не мог их достать. С таким же успехом он мог бы пообещать Зыбину авианосец.

Взрослым легче, чем ему — Андрею Хлыбову.

Мы твердо уверены: после того, как что-то пообещаем, но не сделаем, наш знакомый не подойдет на улице, не ударит наотмашь между глаз. Не поздороваться — и то постесняется. Мы не стоим в подъезде, с трепетом ожидая, когда сосед пересечет двор. Мы не позволяем себя не то что ударить — просто оскорбить. Мы знаем — и это главное, — что безвыходных ситуаций намного меньше, чем нам казалось когда-то раньше, давно.

Мир, в котором живем мы, отличается от мира, в котором мы жили когда-то и в котором теперь живут наши де-

ти. Сравнивая вчерашнее прошлое и сегодняшнее настоящее, мы так часто отдаем предпочтение прошлому только потому, что исчезли и забылись те наши детские страхи, сомнения, мучительные, изнуряющие вопросы.

Наш мир — вариантнее (простите за такое слово), чем мир, в котором живут они и который когда-то покинули мы. Если что-то нехорошее случается у нас в настоящем, мы можем зацепиться за какие-нибудь хорошие воспоминания и по ним, как по лестнице, перешагнуть в будущее. Мы можем уйти в работу, окунуться с головой в отделку квартиры, забыться над хорошей книгой. В этом отношении тем, у кого еще мало воспоминаний, намного тяжелей. Самая незначительная (на наш опытный взгляд) сопротивляемость среды становится для иного подростка катастрофой, приобретает почти космические масштабы. Это для нас, сегодняшних, всякие там детские беды — просто укус какой-нибудь букашки. Для них эта букашка видна, как сквозь стекло микроскопа: огромное мохнатое чудовище с немислимым количеством глаз и лап.

Вспоминая сейчас историю, случившуюся среди бела дня в кустах у реки, я все больше думаю о том, что способность уткнуться глазами в стекла этого «детского» микроскопа, увидеть, понять и помочь — не прихоть или игра, а общественная необходимость, обязанность, долг всех, кто так или иначе связан с воспитанием подростков. А кто из нас не связан?..

Ведь в том, что случилось в Тамбове (назову, наконец, город, да и реку Цну, над которой все и произошло), кроме вины Хлыбова и беды Зыбина, есть и наша вина.

Еще не совершив преступления, Андрей Хлыбов летел к нему всю последнюю неделю (от дня умысла до дня исполнения), как самолет с поврежденным двигателем на выпасный аэродром.

Я усиленно искал тех, кто видел или мог видеть Хлы-

бова в ту последнюю неделю. Мне хотелось понять, читали ли что-нибудь необычное в его глазах, походке, наклоне головы, взмахе руки при ходьбе. Ведь человек, задумавший совершить убийство, должен чем-то отличаться от человека, у которого только и забот, чтобы не пропустить новый фильм.

В один из этих дней его случайно на улице встретила классный руководитель. По ее словам, Андрей был таким же, как всегда, — ни дерзким, ни мягким, ни остроумным, ни тупым, ни двоечником, ни отличником. Она, правда, вспомнила, что Андрей сказал, что хочет купить собаку, обязательно большую, спрашивал, какую лучше. Родители заметили только то, что он «был необыкновенно возбужден». Встретил я человека, который мог предположить, что Андрей задумал что-то нехорошее. Андрей так прямо и сказал ему: «Мне надо с одним человеком рассчитаться». Куда уж дальше! Но взывать к гражданской совести этого семиклассника из соседней школы я не собираюсь: слишком далеко «рассчитаться» от «убить» и «убить» на словах от «убить» кухонным ножом.

Но что там эта, последняя неделя! Мне хотелось добраться до большего. Хотя кто-то замечал, видел, чувствовал, что в течение года подросток приходит то с синяком под глазом, то с ссадинами на щеке, то — хуже — мнется и никак не может переступить порог подъезда?

Вячеслав Иванович, отец Андрея, руководитель отдела НИИ, сказал, что и замечали, и видели, и спрашивали. Сын рассказывал, что какая-то совершенно незнакомая компания ребят напала, потребовала вечные «двадцать копеек», пришлось защищаться, и так далее, и так далее. То есть рассказывал все, кроме правды.

Я спросил: «Почему?» Вячеслав Иванович пожал плечами, горестно усмехнулся. И я вдруг понял, что вопрос мой не только бестактен, но он и до чрезвычайности ди-

Больше того, знали не только о том, что Зыбин кто-то бьет. Еще раньше, на комиссии по делам несовершеннолетних, мелькнула фамилия Хлыбова, конкретного подростка, которого избивает Зыбин.

Знал все и опорный пункт охраны порядка, и когда секретарь совета общественности этого опорного пункта, выступая на суде, сказал, что «лично для него в ситуации не было ничего неожиданного и если бы не Хлыбов, то Зыбина убил бы кто-нибудь другой», то он сказал чистую правду.

Все все знали, заносили в протоколы, ставили на учет, разбирали на комиссиях, но (пытаюсь подобрать сравнение)... смотрели на все, как через стекло вагона на перелески, реки, дома и пашни.

Да, очень часто, как через стекло, мы наблюдаем за ними, видим и не понимаем, что видим, фиксируем их проступки и не знаем зачем, предчувствуем: что-то произойдет, но не догадываемся, что именно.

Мы уверены, что они боятся нашего наказания, но забываем, что они надеются и на нашу помощь.

Когда Андрей Хлыбов пришел в опорный пункт охраны общественного порядка, чтобы спасти своего единственного бессильного, запуганного друга Юру, и понял, что там не помогут; и когда на следующий день Зыбин, узнав, на какой шаг он решился, жестоко избил его — Андрей подумал, что на помощь взрослых рассчитывать нечего.

Это оказалось его последним неоправдавшимся вариантом, после которого он совершил то, что хотел совершить.

Ведь не только для того, чтобы крикнуть: мы их не понимаем! — взялся я писать этот очерк. Нет, мы можем и должны понять их даже в самых тонких, тончайших проявлениях характеров. Понять, увидеть и спасти, если

нужно. Не понимает только тот, кто не хочет или не способен понять.

Я представил, что сейчас август — тот самый день, тот самый полдень. Мы сидим во дворе и смотрим на дверь того подъезда.

Она открылась. Вышли трое.

Вот они пересекают двор, бездумно и даже весело болтая о чем-то на ходу.

Мы с трудом отличаем одного от другого. Может, один повыше, а другой пониже, один говорит громче, а другой тише. У них похожие прически и одинаковые походки.

Первый, Зыбин, идет и думает о том, что пройдет полчаса и он снова вернется в этот же двор, пересечет его, остановится, осмотрится по сторонам уже другим, измененным взглядом. Он, Сашка Зыбин, останется точно таким же, но будет уже другим — джинсовым.

Второй, Хлыбов, идет, громко разговаривая, стараясь быть веселым и беззаботным, без умолку болтая, какие именно джинсы обещали принести к реке, и зная, что пройдет несколько минут, и будет место в кустах и удивленные глаза Зыбина, и больше всего боится, что Зыбин почувствует, как жжет карман холодная сталь ножа.

Третий, Попов, идет просто за компанию — как всегда, когда и бил за компанию, и шатался по улицам, и просиживал вечера на скамейке, не думая ни о Хлыбове, ни о Зыбине да и ни о джинсах. Они-то у него были.

Мы даже не можем представить себе, куда и зачем идут эти трое.

Вот они огибают двор, сворачивают за угол, еще слышны, слышны их голоса. Мы еще успеем крикнуть, остановить, догнать.

Но мы просто провожаем их глазами.

До преступления остается полчаса...

Ранняя весна. Вечер. Сажу в гостях у друзей. Вдруг шум за окном, непонятные крики, топот. Быстро куртку на плечи, в лифт — и вниз, на улицу. По тротуару, отеснив и стенам домов прохожих, идет колонна ребят в одинаковых «красно-белых шапках и такого же цвета шарфах. Впереди — какой-то парень, пятясь, дирижирует красно-белым зонтиком, и в такт взмахам колонна выкрикивает: «Спартак — чемпион», «Спартак — чемпион».

Человек лет сорока-пятидесяти возмущенно говорит: «Из-за них теперь на стадион не хожу: сомнут — и не заметишь. Вон уж, и на улицу вышли!».

Покричав еще немного, ребята разбежались. Кто они? Откуда взялись? Как умудрились собраться вместе такой толпой? Почему вышли на улицу?

Неужели, думал я, именно любовь к спортивному клубу так соединила ребят? Не давали ли повод для подобного поклонения «Спартак», другие спортивные клубы, чьи болельщики вслед за спартаковцами начали громко заявлять о себе в крупных городах? Слишком уж несоизмеримыми представлялись фанатичные вопли ребят в поддержку футбольной команды с куцыми успехами самих футболистов.

Но время шло, и оказалось, что футбольные страсти перерастали арены стадионов и вырывались на улицы и скверы. Стены домов, заборы, телефонные будки покрывались призывами и лозунгами, прославляющими любимую команду или, наоборот, унижающими соперников. Ерунда, мелочь: цвета шапок и шарфов — превращали подростков одного двора, одной школы в противников, го-

товых ради «своих» цветов позабыть и школьные компании, и дворовые привязанности. Футбольные матчи нередко заканчивались конфликтами между юными болельщиками, которые стали именовать себя фанатами, или приводили к неожиданным уличным происшествиям, свидетелем одного из которых я и стал той ранней весной. Казалось, что футбольное боление и хулиганство стало для них одним и тем же, синонимами. Только одно более организованное, а другое более стихийное.

Неужели, думал я, футбол и вправду — сила, так соединившая юношеские массы?

Но чем больше я встречался с фанатами: и на улицах, в засыпающих скверах, и при свете дня, в стенах редакции, — тем больше убеждался, что нет, не в футболе дело. Футбол, скорее, символ, вокруг которого можно объединяться и который можно защищать.

А впервые я это понял тогда, когда познакомился с семнадцатилетним Кириллом, тем самым парнем с красно-белым зонтиком, под дирижерские взмахи которого толпа скандировала: «Спартак — чемпион». С того весеннего вечера я видел его не раз: и на стадионе, и на улицах. И всегда он громче всех кричал, активнее всех размахивал руками или зонтиком в такт крикам, был наиболее ярким в толпе одинаковых подростков. Однажды я пригласил его прийти в редакцию и рассказать, ради чего весь этот сыр-бор, и он, к моему удивлению, с легкостью согласился (потом я уже привыкну, что ребята не только хотят подобного разговора со взрослыми, но и стремятся к нему; просто мы, к сожалению, не всегда хотим и не всегда готовы к подобным диалогам).

То, что рассказал Кирилл, было, конечно же, интересно: выезды с командами в другие города, стычки с местными болельщиками, неожиданный автограф Рената Дасаева, популярный диск, проданный ради билета на самолет в

Тонянен (там матч!), реакция мамы, визит участкового, сорванная шапка противника, снйяк под глазом. Какая бездна жизни, незнакомой нам, взрослым, открывалась за обычным футбольным болением! Но больше всего меня поразила тогда сам Кирилл. Как он представился: «Кирилл, спартаковский фанат», как высказывался о болельщиках других команд: будто это и не его сверстники, а какие-то инопланетяне, которые неизвестно где живут и непонятно чем питаются; как повторял вновь и вновь слово «команда», относя его не только к команде футболистов, а и к своей — команде фанатов. Он, почувствовал и тогда (и это чувство не покидает меня все время знакомства с представителями разных команд), осознавал себя не просто семнадцатилетним парнем, выпускником школы, городским жителем и т. д., а представителем определенной группы подростков, защищающей определенные символы. Он почувствовал тогда, при первой нашей встрече, что я могу не понять этих символов и наверняка не пойму: не из этой команды; и потому, наверное, тем более горячо доказывал: он — фанат, их — много, они — вместе. Этим-то, наверное, и объяснялась та легкость, с которой он согласился на визит в редакцию: доказать, объявить всему миру.

Подобную, открыто декларируемую принадлежность к той или иной группе, я не встречал ранее и потому-то сам для себя назвал Кирилла, других подобных ребят представителями новой волны подростков.

Футбольные фанаты были первыми. Вслед за ними появились другие «команды», соединенные иной символикой: у одних были коротко стриженные виски; другие отличали друг друга булавками, прикрепленными на курточках и джинсах; третьи поражали странной, не очень опрятной одеждой и таинственной поволокой, застилающей взгляд.

Сколько потом было встреч с подростками «новой волны»!

Вот визит родителей в редакцию: «Наш сын связался со «скейтбордистами». Они не просто катаются на досках: у них свои места сборов, скейты — только повод собраться вместе». Вот письмо учителя: «Старшеклассники создали группу «Суд» — измываются над теми, кто не с ними». Заметка в городской газете, полученной мною из Сибири: группа подростков носит рубашки одинакового темного цвета, украшает их всякими зловещими символами.

И чем дальше я сталкивался с подобными явлениями, тем больше понимал: неважно, как сами ребята называют свои команды, какими словами из каких языков определяют свое положение среди сверстников. Им было важно то, что им хотелось называться, выделяться и из среды взрослых, и из толпы своих сверстников — важно кому-то противостоять.

А что делать взрослым? Тем, кто растит и воспитывает? Не заметить? Отойти в сторону? Позвать на помощь «дядю милиционера»?

Сначала — понять, а для этого выслушать, услышать, вызвать на диалог. Так и родилась у нас, в «Литературной газете», идея объявить номер прямой телефонной связи с теми, кто считает себя представителем той или иной команды, и назначить день и часы связи. Ведь часто все наши недоразумения происходят как раз из-за нежелания и лености выслушать тех, кто моложе нас по возрасту и жизненному опыту.

Итак, каждый четверг с 15.00 до 18.00 по связному телефону.

2

Четверг. Три часа дня. Начало. Звонок. Снимаю трубку.
— «Литературная газета»?

— Да.
— Меня зовут Лена.
— Лена, сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Слушаю вас...
— Странно... Прочитала вашу статью и удивилась. У нас какой-то тон странный.
— Не понимаю. Почему странный тон?
— Обычно наставляют, поучают: «Вот это, детки, надо делать, а это нет», — а ваша газета не поучает, а спрашивает нас.
— Мы пытаемся разобраться. Нам одним, без вас, это сделать очень трудно. Можем ошибиться.
— Вы хоть знаете, кто входит во все молодежные группы?
— Примерно да, знаю. Но, возможно, ошибаюсь. Вы — представитель какой-нибудь команды?
— Да. Я — фанатка «Спартака».
— Ваши уже приходили в редакцию.
— Ну и как? Боевые ребята, правда?
— Разные...
— Так вот, Юрий. В этих командах — сыновья и дочери преуспевающих родителей, им просто нечего делать.
— Лена, не согласен. Насколько я знаю, это дети самых разных родителей, не обязательно, как вы говорите, «преуспевающих». Как мне показалось, они просто хотят чем-то выделиться.
— Но мы же все хотим выделиться, все играем... По крайней мере, насколько я знаю нашу группу. Излюбленная фраза нашего вожака: «Скучно жить на этом свете, господа, ох как скучно...»
— Лена, мне казалось, что все наоборот. Именно вам, как вы себя зовете, фанатам, не может быть скучно. За нами — футбол. А там происходят постоянно всякие собы-

тия: то выигрывают, то проигрывают, то выгонят игрока с поля или из команды.

— Большинство наших абсолютно не интересуется спортом, фанатизм — это способ выделиться и установиться. Кто-то выделяется одеждой, кто-то — знанием музыкальных групп, кто-то, как мы, фанатством.

— Так, выходит, вы и на матчи не ходите?

— Мы обычно собираемся на спортивной площадке возле школы.

— Лена, а как вы стали фанатом? Или — фанатичкой... Не знаю уж, как сказать точно.

— Как-то вечером я не знала, чем себя занять. Пошла в кино, а там такой фильм! Что я, упала, что ли, идти на него? Потом увидела ребят. Они мне предложили билеты на дискотеку в какой-то клуб. Но там же шпана одна! Черт знает что! Туда зайдешь — обратно не выйдешь. И вдруг — познакомилась с одной компанией. Ребята пригласили в кафе и сказали, что они — фанаты. Мне понравилось. И я стала такой же, как они.

— Лена, а легко ли попасть в вашу команду новому человеку?

— Новый человек проходит испытания.

— Испытания? Что это еще такое?

— Нового испытывают на стойкость и веру.

— Веру во что?

— В команду. Допустим, в прошлом году наши ребята стояли в подъездах и спрашивали, за кого болеешь. Если человек струсит, скажет, что, допустим, он — фанат «Динамо» (если наши себя выдадут за динамовцев), то значит — не наш.

— А если будет отстаивать свое, спартаковское, то, выходит, свой?

— Конечно...

Кладу трубку. Новый звонок.

— Здравствуйте, полчаса назад я прочитал вашу газету и думаю, что могу вам рассказать, почему ребята объединяются во всякие команды.

— Слушаю вас.

— Чтобы вам было ясно, с кем вы разговариваете, представлюсь. Мне — 18 лет. Студент. Только что поступил. Два года, девятый и десятый класс, был секретарем школьной комсомольской организации.

— Простите, как ваше имя?

— Меня зовут Алексей, и мне знакомы все эти группы. И точно знаю, что есть комсомольские работники, которые не хотят знать, что такие группы существуют.

— Алексей, вам приходилось сталкиваться с подобными комсомольскими работниками?

— Конечно. Они обычно говорят: «Ребята, на эти темы и разговаривать не буду». Такую позицию я лично ненавижу. Вы согласны?

— Ну, в общем, согласен. Мы в редакции хотим вникнуть во все и не торопясь разобраться.

— Правильно. Я учился в обычной школе, и у нас было много ребят из команд. Кто-нибудь с ними занимался? Никто. Вот говорят о формализме, но как только доходит до дела, забывают о словах, сказанных против формализма, и работают все в тех же старых, скучных формах. Прислушайтесь к моим словам, пожалуйста.

— Спасибо, Алексей, прислушаемся...

В телефонной трубке — шум улицы, рокот машин, сквозь звуки города — голос семнадцатилетнего Андрея:

— Мы называем себя группой «Рок на колесах».

— То есть вы — рокеры? Катаетесь на мотоциклах, да?

— Да. Мы собираемся каждый вечер на одной площадке.

— А кроме того, что вы — мотоциклисты, вас еще что-нибудь объединяет?

— Вас это интересует?

— Да, конечно.

— Странно... И вы что, собираетесь о нас написать?

— Посмотрим.

— Ну ладно. Мы собираемся каждый день. Ребята — почти одни и те же. Но некоторые приезжают впервые. Тут же становятся нашими. У нас даже есть и молодежные.

— А какие ваши отличительные знаки? Как вас узнавать?

— Преимущественно кожаные куртки. Шлемы — синие или черные.

— И собираетесь каждый день?

— Каждый вечер. Обычно в девять или десять. Иногда милиция появится, скажет: не собирайтесь! Мы отнекиваемся, что, мол, стоим просто так, случайно... Мы и в самом деле никого не трогаем. Когда приказывают разъезжаться — разъезжаемся, потом собираемся снова.

— Но зачем, Андрей?

— Ну рассуждаем обо всем, ездим друг к другу в гости, просто катаемся по городу. Нам хорошо вместе. Хотите, приезжайте к нам — сами убедитесь.

— Спасибо за приглашение...

Звонок пятнадцатилетнего Игоря. Снимаю трубку.

— Алло, говорит Игорь, кличка Фореинджер, фанат ЦСКА.

— Вас много?

— Нас было много. Сейчас много рассеялось, но все равно — у нас крепкий клан и мы еще за себя постоим.

— Что значит «постоим»? Против кого? За кого?

— С фанатами других команд, которые живут в нашем поселке, у нас хорошие отношения. Обзываем друг друга, конечно, но не деремся. Ну а с теми, которые не из нашего поселка, сами понимаете...

— А когда чаще всего бывают стычки?
— Иногда после матча. Недавно мы схлестнулись с торпедовскими фанатами. Они оказались посильнее, но им тоже досталось.

Да из-за чего драться-то!.. Ведь драка — штука не очень хорошая. Я лично понимаю и позицию милиции, когда она разгоняет ваши драки.

— Но вы же сами написали, что «не надо звать на помощь дядю милиционера», а сейчас я замечаю нечто обратное.

— Но что-то против таких драк ведь надо делать, согласись.

— Я лично был в стычках с ребятами из разных групп. Недавно — с какими-то пацифистами. Они объединились против нас с торпедовцами. Это были люберецкие пацифисты, я их знаю.

— Какие?

— Люберецкие... И с панками я дрался...

— Игорь, не много ли драк?

— Я понимаю, вас это иронирует (он так и сказал. — Ю. Ш.). Вот, мол, строит парень из себя какого-то героя.

— Нет, мне просто жалко, что из-за цвета спортивного флага приходится тратить так много сил и энергии. Это же ерунда!

— Ерунда?

— Ладно, не так сказал. Но понимаешь, нам не только хочется узнать, что происходит сегодня в вашей жизни, но и сделать так, чтобы вам было хорошо. Стоит ли драться?

— Дело в том, что я — не вожак. То есть я хоть и вожак, но не такой большой. Драки начинают большие — мы их только поддерживаем. Я только считаю, что надо создавать клуб юных болельщиков, и тогда ничего этого не будет.

— То же самое просят и спартаковские фанаты. Но стычками между собой вы сами мешаете эти клубы создавать. Кому нужны клубы хулиганов?

— Но в этом виноваты не только мы. Обыватели обычно стоят у стеночки, когда у нас происходит драка. И сами тоже, между прочим, хороши. Например, на одной станции метро мы, как всегда, залезли в вагон с криками «Армейцы Москвы». И служительница метро сказала: «Я бы таких болельщиков к стенке ставила». Что, это правильно?

— Но я как-то попал в такую ситуацию, честно скажу — ничего приятного.

— Все равно! Это все происходит от того, что нам запрещают кричать на стадионах, понятно!..

— Думаешь, дело только в том, чтобы разрешить кричать «Спартак — чемпион!»?

— Но нам же хочется быть вместе!..

Игорь звонил еще не раз. В конце концов я привыкну, что во время четверговых сеансов связи обязательно услышу: «Здравствуйте, это Игорь, по кличке Фореинджер». Потом он придет в редакцию. Ему уже исполнилось шестнадцать лет. Скажет про ребят из своей команды: «Мои балбесики». Улыбнется. Будет долго размышлять вслух о том, почему команда — это хорошо. Удивит нас тем, что много читает. Любимый писатель — Михаил Булгаков. Удивится, что и мы читали Булгакова. В конце концов я позабуду, что наш с ним первый разговор велся в агрессивном тоне. Но сейчас не мог не привести его. В этом телефонном разговоре присутствует тот элемент нарочитого запугивания собой, своей командой, которым, как можно было убедиться во время наших контактов, многие ребята украшали рассказы о собственной жизни. Будто для начала нас, взрослых, необходимо было сначала запугать, а потом уже и укротить. Иначе — не слушаем, бросим

трубку, сваяем, что все это — «детство», «серунда», «мальчишеская блажь», «проширивание». Они очень хотят этого внимательного выслушивания...

Еще разговор. Пелегкий для меня. Каждый четверг обязательно звонили взрослые, чаще всего с советами и пожеланиями, как надо воспитывать молодежь. И каждый раз мне приходилось, извиняясь, напоминать, что телефон этот — для молодежи. А то им будет трудно пробиться сквозь наши длинные серьезные размышления.

По этот разговор я не посмел прервать.

Они собираются в (мне называли кафе, о котором я давно слышал). Я спросил, что вы там делаете? Она отвечает: пьем кофе, едим коржики.

— Но как я знаю, в этом кафе больше ничего и нет.

— Она нам говорит: там все хорошие люди, интересные люди... Но у нас есть знакомые, которые были за границей, видели таких же хиппарей. Ходят ободранные, непричесанные. Муж сказал: все, мать, у нас с тобой больше нет дочери.

— А вы не преувеличиваете опасность?

— Как только она начинает говорить со своими подружками по институту, у меня волосы дыбом встают: «герл», «гуляем на стрите».

— Но когда вы были молодыми, у вас тоже были всякие жаргонные словечки.

— У нас ничего такого не было.

— Уверен, что были. Ведь слово «чувак» вошло в употребление среди молодежи вашего поколения, сегодняшних сорокалетних.

— Сравнили... «Чувак» — это безобидно. Шутка, не больше.

— Словечки — это все-таки не самое страшное. По аналогичным историям знаю, что самая большая беда насту-

пает тогда, когда человека отлучают от собственного дома, когда родной дом становится чужим и холодным.

— Именно этого я и боюсь. Вчера был такой страшный разговор. Она сказала: «Вы меня не понимаете, вы меня не любите, я для вас лишняя». И пообещала уйти из дома.

— Так, может быть, вам попробовать позвать ее друзей в гости?

— Я сказала вчера, чтобы их ноги у нас не было.

— То есть прямо противоположное. Но когда так говорят, то ребята непременно начинают искать место для сборов, компенсирующее дом.

— Думаете, стоит их позвать?

Повторил, да, стоит. Другого выхода нет. Что еще можно было посоветовать?..

Звонок восемнадцатилетнего Алексея.

— Я сторонник глобальных мер.

— Каких же?

— Я заметил, что по каждой проблеме самостоятельного молодежного соединения — будь это клубы каратэ или самостоятельной студенческой песни — обсуждения в печати проходят несколько фаз. Первая фаза: а вдруг это хорошо? Вторая: это действительно хорошо! Третья: а так ли это хорошо? И четвертая: нет, это совсем плохо. У вас с командами начался только первый этап.

— Но мы и не торопимся переходить к последним фазам. Куда торопиться? Разобраться бы сначала...

— Так разберитесь! Мое мнение: нужно доверять молодежи. Помогать тому хорошему, что появляется снизу. Ведь мы же не такие глупые и уже не такие маленькие, что сами не можем отличить, что хорошо, что плохо...

Шестнадцатилетняя Настя позвонила в один из первых «связных» четвергов.

— Во всяком случае странно... — начала она, — насколько

но я знаю об отношении ко всем этим группам, оно обычно у взрослых резко отрицательное. А ваша газета — выясняет.

Настя, а вы сами в какой-нибудь группе?

И — сочувствующая.

Кому?

— Я — панкам.

— И кто такие эти панки?

— У них знаете какой девиз? Мы плебей, нам все можно.

— Это нормальные ребята, которые играют в хулиганов?

— Вот именно. Они считают, что не стоит ничего стесняться. Я видела одного мальчика — у него были зеленые волосы. Очень симпатичненький. Во всяком случае — не такой, как все.

— Но это — внешние отличия. А внутренние?

После паузы:

— Вообще-то они... — гнилые ребята.

— А говорите, что сочувствуете.

— Но не оставаться же одной! Хочется отличаться от остальных и с кем-то быть вместе...

Диалог с двадцатидвухлетним Александром, фанатом ЦСКА с семилетним стажем. Саша сначала позвонил по телефону, а потом пришел в редакцию.

— Саша, — спросил я его в начале разговора. — Почему ты отказался прийти в редакцию в тот момент, когда у нас был такой же, как ты, спартаковский фанат?

— Не хочу с ним разговаривать!.. Не о чем!

— Ничего не понимаю! Что же у вас за вражда такая?

— Я хожу на стадион с четырнадцати лет, и когда «Спартак» вылетел в первую лигу, появилась группа молодежи в красно-белых шапках и шарфах, спартаковские фанаты. И это было ужасно!

— Что значит «ужасно»?

— Приходим на стадион, и приезжает толпа красно-белых, чтобы погонять, побить. Дворами домой ходили! А потом подумали: сколько можно? Нас мало, но больше-то не будет! Надо не скрываться, а давать бой!

— Из-за чего? Из-за ерунды? Из-за того, что на вас шапки красно-синие, а не красно-белые?

— Но нам не стало жизни! И однажды... Я даже хорошо помню этот день, 8 сентября 1980 года... Тогда еще была такая система: в один день на разных стадионах проходило по два матча. И у кого матч раньше начинался, тот всегда был в выигрыше.

— Что значит в «выигрыше»?

— Спартаковцы раньше выходили со стадиона и устраивали засады и облавы. И вот 8 сентября у кого-то появилась идея: хватит! Надо будет дать бой! Поехали все на вокзал, с которого, знали, всегда уезжали домой спартаковцы. Это было ново, необычно и страшно.

— Ты тоже поехал?

— Да, конечно. Нас в общей сложности было человек семьдесят, и нас еще поддерживали динамовцы. А их было не меньше трехсот. И я в первый раз увидел бегущих, разбегающихся в разные стороны спартаковцев. Это, конечно, доставило удовлетворение!..

— Саша, ты же уже вырос! Оглянись — ведь все это глупо. Государства между собой — и то договариваются. Фанатизм стал выше, чем футбольное боление. Уже и про футбол-то позабыли. И вы, между прочим, сами начали серию этих драк. А сейчас уже пошло-поехало... Хотя новые ребята и не помнят, из-за чего, почему!

— Это была ответная мера!

— Саша! Ты обвиняешь спартаковцев в том же, в чем спартаковцы обвиняют ваших фанатов! А, между прочим, именно спартаковцы однажды сказали, чтобы им самим

...вероятно обеспечить порядок на стадионе, а за это — позволить им болеть, как им хочется.

— Правильно, и эксперимент был успешным. У нас тоже было такое же. На матче все накричатся, нашумят, набодоятся, а потом — по домам. И нет никаких беспорядков. Я наших ребят даже видел по телевизору с флагами.

— Вот видишь! У вас больше точек соприкосновения, чем вражды, которая ни к чему не приводит. Драк не хочется никому: ни вам, за кого бы вы ни болели, ни милиции.

— Согласен. Но из этого ничего не получилось! Клубы юных болельщиков так и не создали! На стадионах болеть запрещают, шапки снимают, шарфы отбирают.

— Так из-за тех же драк!

— Ну да, наверное... Раньше мы защищались, потом стали нападать. А сейчас уже идет по инерции.

— Что же теперь делать с этой энергией?

— Не знаю... Мы-то что? Уже выросли. Драться, по крайней мере, не будем. А новые уже и на стадионы почти не ходят. Фанатеют между собой. В этом, между прочим, ничего хорошего нет...

Четверг. Три часа дня. Включаю телефон. Что услышу сегодня? Что отвечу? Кто вступит в спор со мной? На какие вопросы я не смогу ответить?

— Алло, слушаю вас!

— Вот вы пишете, что подростковые компании «дают высокую преступность»?..

— Простите, как ваше имя?

— Меня зовут Леонид. Представим, что я — подросток.

— А кто вы на самом деле?

— Подросток. Мне чуть-чуть не хватает до восемнадцати лет. Учусь в техникуме.

— Ну представил. И что дальше, Леонид?

— Я сейчас пришел домой с пляжа. Поотдохну, поем и пойду куда-нибудь потанцевать. Погода хорошая. Летние каникулы. Иду в дискотеку. Но в десять вечера она кончается. И я, можно сказать, во власти улицы. До 12 ночи мне нечего делать. А когда люди просто гуляют по улице, им может прийти в голову черт знает что. От безделья.

— Леня, что же надо делать для такого человека, как вы? Куда же вас отвести, чтобы вам «ничего не пришло в голову»?

— Не проще было бы сделать молодежные, подчеркиваю, чисто молодежные кафе, куда можно прийти и в одиннадцать, и в двенадцать. Не обязательно, чтобы там подавали водку — по мне, так вообще не надо. Но ведь где-то нам надо быть!

— Вы думаете, что подобные кафе решат все проблемы молодежных компаний?

— Не только это, но и это тоже. Нас надо чем-то увлекать.

— Ну чем, например?

— Об одном сказал. Теперь — о другом. Да хотя бы телевизором! Если сегодня кто из наших спросит, что сегодня по телевизору, так над ним полчаса смеются. В последнее время, правда, появилась программа «Мир и молодежь», но она навязывает свое мнение. А это раздражает. А о музыке, которую можно послушать, я и не говорю. Посидите, послушайте.

— Леня, вас можно упрекнуть в потребительском отношении к жизни. Подавай то, подавай это. Вы правы: наши города еще недостаточно оборудованы для молодежи, но вкусы-то и запросы у всех разные!

— Но надо же и учитывать это «разное»! Я даже не говорю, что давно можно было бы понаделать и клубов юных болельщиков, музыкальных фанатов, техников, мотоциклистов, артистов. А нам, взрослым, все предлагают

нати во дворцы пионеров и клеить там самолетики. Это была молодежная мода.

— Не понял. При чем здесь мода?

— Плохой взгляд у взрослых на молодежную моду. Это просто злит, честно говоря.

— Но сейчас взрослые сами одеваются по-молодежному. Особых противоречий нет. По крайней мере, как еще десять лет назад.

— Наша мода сделала большой скачок от моды двадцатипяти-тридцатилетних. Не говоря уже и сорокалетних, которые в автобусе начинают обсуждать твои одежды.

— Да неужели так уж вы отличаетесь? Никогда бы не подумал!

— Но мы же совсем новые, поймите это!..

Этот звонок раздался тогда, когда я уже собрался домой. Повернул выключатель, открыл дверь... Но пришлось вернуться.

— Алло, слушаю...

В трубке — юношеский голос:

— Прочитай вашу статью про так называемого панка Сергея, «по ком звонит колокольчик?» (см. ниже. — Ю. Ш.).

— И что?

— Да ничего! Что-то вы в ней перемудрили. Что это он у вас за час-полтора беседы перевоспитался, снял все свои дурацкие атрибуты и вышел на улицу очищенным?

— Просто с таким множеством булавок ходить не очень уютно. Лично я это понял так.

— Все равно недостоверно... Ну ладно. Я не об этом.

— А о чем? Как вас называть? У нас принято спрашивать имя, чтобы не обращаться в пустоту.

— Вячеслав, 18 лет.

— Ну, Слава, слушаю...

Он замолчал.

— Слава, слушаю.

— А вам не интересно поговорить с нами?

— С кем это с «вами»?

— Мы ненавидим таких, как вы...

— А... Догадываюсь, с кем я разговариваю.

— Тем лучше. Можете называть нас как хотите. Вы здесь пишете о фанатах разных. Я сам был фанатом, начинал с этого.

— Потом решил переквалифицироваться?

— Просто осточертело. Там уже для меня не было ничего интересного. В конце концов надоедает ходить друга за другом с этими шарфами.

— А дома знают, кто вы?

— Да, знают. Но отец совершенно на другом полюсе. Мы с ним довольно часто дискутируем на эти темы, и он, конечно, отрицательно ко всему этому относится.

— Слава, меня интересует ваше отношение к чужому горю, несчастью.

— Честно говоря, чужое горе меня мало волнует.

— А если обидят кого-нибудь из ваших?

— Отомстить.

— Слава, вы знаете, как вас ненавидят ребята из всех остальных групп? Да и те, конечно, кто не входит ни в какие группы. А таких большинство.

— Знаю. Но мы есть.

— И это заставило вас позвонить в редакцию?

— Нет, я просто не поверил в достоверность телефона.

— Точно так же можно и не поверить в достоверность нашего с вами разговора.

Он помолчал, потом повесил трубку. И прошло время с тех пор, уже немало времени, но я так и не могу ответить на вопрос, почему же он все-таки позвонил? Зачем? Что хотел услышать в ответ на то, что сказал?

Звонок семнадцатилетнего Игоря:

Сейчас появились музо-фанаты. Это товарищи по возрасту, чем футбольные: лет с 12 до 16. Вам интересно?

— Да, конечно.

— Не знаю, кто еще может появиться — дело не в названиях.

— А в чем?

— Меня знаете какой вопрос интересует? Ведь ничего этого раньше не было, не было — и раз, все появилось. Ведь ансамбли были давно, «Спартак» существует с этого года. Но почему все эти команды начались только в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов. Чем вы это объясните?

— Не знаю, Игорь, самому хочется понять, — честно признался я...

Телефонный звонок, в трубке — молчание.

— Алло... Алло... Ну смелее, — пытаюсь поддержать своего невидимого абонента.

Потом наконец-то:

— Скажите, вы про всех писали?

— Что значит, «про всех»?

— А если у человека нет совсем никакой компании?

— Как у вас?

— Как у меня...

— Как вас зовут?

— Таня. Мне 16 лет, и никого нет вокруг.

— Таня, иногда кажется, что ты совсем один и никого нет кругом, а оказывается, что всех кругом много.

— Нет, иногда кажется, что всех кругом много, а на самом деле никого нет. Очень страшно, когда ты один или ты одна...

Тридцатый, а может, и больше, пятидесятый звонок от человека, мечтающего о какой-нибудь команде, компании, друзьях, группе. Если посчитать — пятая часть звонков

в редакцию с того времени, как был объявлен номер связанного телефона...

Еще один визит в редакцию. Точно так же, как предыдущие: сначала звонок, просьба о встрече, стук в дверь. «Здравствуйте, я вам звонил».

На этот раз — восемнадцатилетний Алексей — «скейтбордист», то есть разделяющий и проповедующий новое модное увлечение — катание на досках.

— Алексей, но скейты — это все-таки увлечение. Ну как, допустим, велосипед. Или ты считаешь, что скейтбордист — аналог футбольных фанатов?

— Нет, это, конечно, совсем другое. Если раньше, когда я был в этих группах, была... ну не то чтобы вера, а какая-то основа для сбора, то здесь собираются все вместе, чтобы провести свободное время.

— Я так и думал...

— Но скейты — очень прогрессивное увлечение. Не стандартное, оригинальное. Научиться, между прочим, трудно. По себе знаю! Я сам очень часто падал.

— Но те, кто научились, и соединяются вместе?

— Да, конечно, нас это объединяет. Но не для каких-нибудь там целей. Не думайте. Но мы собираемся своей компанией, и кому-то почему-то это не нравится. Как-то подошла группа хулиганов, толпа такая здоровенная. Говорят: «Вы что, эти... скейтисты?» Правильно-то надо говорить «скейтбордисты». Но они же... Мы, к счастью, были без скейтов. Сыграли под дурочку: да что вы, ребята, мы обычные. Они отошли...

— Да чем вы им помешали?

— Хулиганы отнимают скейты и на глазах ломают.

— Но зачем? Сам ты как думаешь?

— Понятия не имею, — пожимает Алексей плечами. — Может, это идет от взрослых? Что ново — то непонятно.

— А, понял. То есть ты считаешь, что молодые подстраиваются под старших?

— Ну не все... Если тебя не понимают дома, не понимают на стадионе, не понимают в кафе, не понимают в каком-нибудь клубе, то ищешь то место, где бы тебя понимали. Я, допустим, своим детям ничего не буду запрещать. Они смогут меня спросить о чем угодно, и я им отвечу тоже что угодно.

— Посмотрим... Интересно было бы посмотреть, какими будут твои отношения с детьми.

— Посмотрим...

Еще звонок, еще... Десятый, сотый, двухсотый! Алло, мы вас слышим!..

3

Да кого, собственно, слышим? Чему удивляемся? О чем тревожимся? Какие «новые волны» видятся нам в море жизни?

Во все времена, всегда и везде подростки объединялись в группы. Объединяло общее увлечение и двор, школьный класс и спортивная секция. Чем же удивляют новые, сегодняшние дети и младшие братья, выраставшие в абсолютно мирное и беззаботное время?

Тем, пожалуй, что никогда раньше принадлежность к своей группе, к своей команде не подчиняла с такой силой личность подростка правилам и законам, принятым в этой группе: от манеры одеваться и тех или иных музыкальных вкусов до собственного, часто непонятного взрослым и неизвестного им, иногда шокирующего, способа самовыражения.

О подростках часто писали, особенно раньше: «инфантильны». Упрекали их в том, что их любимое занятие —

«балдеть», то есть воспринимать жизнь, лежа на диване под звуки музыки, ругали за отсутствие общественной активности. Подростки «новой волны» выводят краской на стене дома: «хочу фанатеть», то есть защищать свои символы, какими бы мелочными мы, взрослые, их ни считали. Они хотят не только отличаться от взрослых, но и испытать взрослых на понимание, сочувствие, соучастие.

Не забуду «команду», небольшую, всего несколько человек, которые, купив на десятку гвоздик, дарили цветы прохожим в центре города: вот, пожалуйста, это — от нас, не бойтесь, не бегите, мы вас не обидим, нам хочется, чтобы вы шли по улице с добром в сердце... Дарили цветы, и с удивлением, а потом, и с яростью наблюдали, как прохожие с ужасом шарахались от протянутых им букетов. «Они же нас боялись, потому что ждут от нас только подножек», — констатировал лидер этой группы.

В этом шараханье и заключена, по-моему, причина того, что мы никак не можем разобраться в элементарном: что они говорят нам? Каких слов ждут от нас?

Понимаю реакцию читателей, кто, оказавшись на месте тех прохожих на улице, точно так же шарахнулся бы от подростков с цветами. Мало ли что у них за намерения? Кто разберет, может, у них под гвоздикой кастет запрятан?

Больше того! Испытывая взрослых, подростки особенно не заботятся о средствах. И дело даже не во всяких хулиганских поступках.

Расскажу об одной встрече, почти в полночь в центре города.

Когда я столкнулся с ними в подземном переходе, уже пустынном в этот час, то сначала не мог понять, что же такое происходит вокруг? Снимается кино? Что-то исследуют социологи?

— Товарищ! — парень в джинсах — новеньких, с иго-

...бросился наперез нагруженному сумками усталому прохожему. — Одну минуту, товарищ! Вы знаете, что происходит там, в... (называл он далекую заморскую страну), вы знаете, что там ежедневно умирают от голода дети! Мы должны помочь им, товарищ!

— Пойдите, прошу вас! — девушка лет семнадцати преграждала путь нарядной, наверное, из театра идущей паре. — У вас все хорошо, и у нас тоже, но там же голодают! Я вас прошу, помогите!

— Вы читали сегодняшние газеты? — парень в длинном до пят пальто, в широкой, на глаза шляпе спокойно, серьезно, даже с какой-то настоящей болью в глазах встал перед двумя подружками. — Вы знаете, что там происходит! Мы можем оказать маленькую помощь! Много не надо! Дело не в деньгах! Дело в вас!..

Голоса гулко отдавались в почти пустом переходе.

Я стоял, помню, ошарашенный этой картиной, лихорадочно вспоминая, что же происходит в далеком экзотическом государстве на том краю света, когда передо мной остановился парень, тоже в джинсах, но уже в потертых, в свитере, на котором было вышито маленькое красное сердце, и, глядя прямо в глаза, приветливо улыбаясь, торжественно заговорил о голодных, которые живут на том конце света, и о моем, человеческом долге.

Что было делать? Ведь не грозят — улыбаются, не требуют — просят, не для себя же в конце концов! Конечно, непривычно вот так, в подземном переходе, ни с того ни с сего, но мало ли что не бывает в жизни, мало ли какие люди подрастают рядом с нами?

И я уже полез в карман, но тут этот парень (лет семнадцати на вид, не больше) сделал вдруг что-то совсем в данной ситуации неожиданное. Он по-детски хихикнул, попытался снова стать серьезным — не получилось, и, уже почти не сдерживая смех — как плохой рассказчик анек-

дотов, который начинает смеяться раньше слушателей — начал нести уж совсем явную несуслаицу.

И я сказал первое, клянусь, что пришло в голову:

— Да ты на часы посмотри! Магазины-то все уже закрыты!

Парень в свитере, на котором алело маленькое сердце, выдохнул, отсмеявшись, и сказал доверчиво, как своему:

— А швейцар в ресторане! Двадцать рублей — и бутылка! Вы что, не знаете? Это же элементарно! Ноу проблем...

Время все ближе подходило к полуночи. Затихала жизнь и в подземном переходе. Парни — их, как помню, было пять или шесть — стояли теперь уже все вместе, кучкой, переминаясь с ноги на ногу, весело, как пятиклассники на перемене, толкали друг друга. Только вдалеке, под занавес, как говорится, девочка лет семнадцати работала (другого слова и не подберешь) с немолодой, не модно одетой женщиной.

Я не уходил. Стоял и смотрел на них. Может, хоть теперь — надеялся я — сквозь улыбочки, сияющие на лицах, проступит, как на киноплёнке, холодный оскал циника или дерзкая ухмылка уличного флибустьера, промышленяющего по вечерам у испуганных прохожих «на-бутылку-красного-дай-папаша-а-то-в-ухо»? Ничего подобного! Улыбки как улыбки, лица как лица, слова как слова.

Может, станет заметна в них алчность, обозначится умение взять и то, что плохо лежит, и то, что лежит хорошо, то самое современное «мурло мещанина» (в изображении которого мы, как мне кажется, уже порядком запутались)? Да нет, ничего такого не стало в них заметнее. Спокойно, без напряжения и уж тем более — без всякой алчности, как человек, для которого не важна сумма и приходится держать деньги в руке только лишь для того, чтобы чем-то занять руки, пересчитывал Гарик (тот, что в пальто до пят, — мы уже сумели познакомиться) свой

взвешенный доход. И когда девочка, наконец-то отобравшая свою, бросила Гарику, еще не доходя, двадцать копеек и тут, подняв ладонь, все-таки не поймал монету, то никто не просился ее поднимать, а даже наоборот — один из парней отфутболил ее в сторону.

Может, думал я тогда, вдруг промелькнет на их лицах раскаяние, ну хотя бы ощущение некоторой внутренней недовольности, что так легко — да еще на чем! — можно одурачить десяток взрослых людей. Нет, ни раскаяния, ни недовольности. Даже страха, что кто-нибудь из прохожих вернется и строго спросит, от какой такой организации собираются средства, — нет, даже страха не было в помине. Я, случайный прохожий, стоял рядом с ними уже минут десять-пятнадцать. Они отлично понимали, что я все увидел и все понял. Но это для них ничего не значило! Они не стеснялись ни меня, ни — почти уверен — любого, кто стоял бы на моем месте.

Наконец, вся компания (и я вместе с ней) поднялась наверх, на улицу.

Здесь дул зябкий ветер и гасли огни в домах.

Гарик легонько подтолкнул к дверям ресторана при гостинице парня в свитере, на котором было вышито сердце.

Они топтались на месте, переговариваясь о какой-то нормальной ерунде: где-то выступает популярный ансамбль, кому-то отец привез из «загранки» магнитофон, что скоро лето и надо «мотануть» на юг, погреться. Девочка спросила, который час, и побежала в автомат звонить маме, кто-то вдруг вспомнил, что завтра зачет, а не сдать его — останешься без стипендии, кто-то сообщил, что сегодня он домой не поедет, потому что надоело, как «они выступают».

Я не знал, как они называют себя, но видел, понимал — вот еще одна команда. Слишком все было знакомо

и узнаваемо. Нет, не по поступкам. По тому, как они держались друг друга. По тому, как были соединены общими приметами в костюмах и общими, длинными прическами. По тому, какими словами обменивались. Что же касается поступка, этого, так сказать, испытания...

За этими ребятами, за их безобидным трепом и раскованными движениями стоял совершенно реальный поступок — спекуляция на боли и сострадании (так что ли это назвать). Для них, почувствовал я тогда — стало возможным поступать так, как поступать нельзя. И не по каким-нибудь зафиксированным на бумаге нельзя (хотя и законы, наверное, на это найдутся), а по самым элементарным, человеческим, по которым не пускаются в пляс при прощании с любимым человеком, не бьют старика или ребенка.

Вот ведь как сложно с ними...

Да, можно с гневом крикнуть в лицо им: «Что вы делаете?», но еще важнее спросить: «Почему же так происходит?» А для этого — выслушать их. Вдруг услышим что-нибудь общественно важное?

Ведь нет ничего опаснее, чем делать крайними в наших бедах и проблемах подростков, обвиняя их, не выслушивая, ругая, не принимая критику в свой собственный адрес, принимая мимолетное решение, не думая о будущем. Их будущем, в том числе.

А им так важно, чтобы их услышали! Чтобы заметили!

В этом меня еще раз убедил один наш молодой гость.

Мы разговаривали с семнадцатилетним Сергеем уже час, когда я почувствовал, что могу задать ему вот такой вопрос:

— Извини, а тебе не кажется, что ты одинок?

— Трудный вопрос... — он задумался. — Есть ребята, есть единомышленники, но есть и ощущение собственной мизерности перед лицом пошлости. Это и делает тебя оди-

мани. Мой лучший друг — он не из нашей команды. Он говорит так: «Я ращу из себя обывателя, потому что считаю, загружать свой мозг мировыми проблемами не нужно и, главное, это ни к чему не приведет».

— Но кто же такой обыватель?

— Это человек, который интересуется только самим собой, своей семьей, своим кругом и который бережет свою нервную систему от любых отрицательных эмоций. Он не стремится никому помочь, он не хочет ничего изменить. Это вовсе не зависит от того, какой у него достаток: антикварная мебель или обшарпанная квартира. Обыватель замкнут в своем мирке, ему там уютно. Он живет в пошлости, производит пошлость и защищает пошлость.

— Ты часто размышляешь об этом, Сергей?

— Постоянно.

Да это же здорово, подумал я, что вырастают ребята, размышляющие не только о сиюминутном, но и о существенном в нашей жизни, болеющие не только за себя одного, но и за всех нас. Разве не близка нам его позиция? Разве не такими, размышляющими, умеющими оценить, что плохо, а что хорошо, что настоящее, а что дешевка, и хотим мы видеть молодых людей?

А я-то настроился на спор с ним еще тогда, когда он позвонил в четверг.

По телефону он представился так: «Сергей, 17 лет, я — панк».

Ну вот, панк... В последнее время словечко начало мелькать в читательских письмах, чаще всего — с интонацией негодования. И несколько телефонных звонков от них или им «сочувствующих» тоже было. Но что все-таки это за ребята?

Сергей, судя по всему, был готов обосновать свою позицию. Я предложил ему прийти в редакцию, он согласился, и на следующий день, в пятницу, я столкнулся на лест-

нице с парнем, который поднимался, издавая мелодичный звон:

— Сергей?

Его нельзя было не узнать в редакционных коридорах.

На шее — узкий черный галстук, точнее, две черные ленточки. На левом колене — круглый значок с какой-то музыкальной эмблемой. На джинсах, на рубашке, на свитере — штук пятнадцать больших английских булавок. И, наконец, к джинсам сбоку, чуть выше колен был прикреплен колокольчик.

Это был, так сказать, антураж, за которым можно было увидеть вызов норме или причуду юности, легкую шутку или злой умысел.

Началось все, по его словам, когда он заканчивал восьмой класс.

— Я сам тогда не знал, кто я, но кем-то хотелось быть. Все «мое» выражалось в том, что я надевал бриджи, черную рубашку и черный галстук. Вот этот, — он потрогал концы галстука. — Я сбрил виски, подбил нескольких приятелей, и мы ходили по улицам, демонстрируя себя. Внимание публики нас не раздражало. Скорее, наоборот.

Но это — в пятнадцать лет. А сейчас, сегодня?

— Демонстрировать себя — принцип нашей команды. Мы хотим, чтобы на нас оглянулись, чтобы нас заметили. Забавно идти по улице и на лица прохожих видеть, что они озадачены. Вот какой-то солидный человек прошел, посмотрел на тебя надменно, и ты чувствуешь, что самым видом ты его почему-то, — это слово Сергей подчеркнул, — оскорбил.

— И это приятно?

— Да, приятно. Это согревает душу.

Я хотел было возразить Сергею, сказать о том, что самоутверждаться надо в другом: в учебе, в науке, спор-

знания и культуре, что «по одежке» в конце концов встречают, но вдруг осека. А не точно ли такие были и читал и слышал, когда был в возрасте Сергея?

Может, в этом все и дело? Они — новые, а мы предлагаем им слова, которые были в ходу, когда сами были в их возрасте. Они — новые, а мы предлагаем им старые, устаревшие формы работы, которые действовали на нас, а не на них. Они — новые, а мы заставляем их петь песни, которые любили сами.

Да почему же они такие новые? Потому что они — одни из первых поколений советских подростков, чьи родители не знают ужаса войны и боли лишений. Они — по-настоящему мирное поколение, и потому проходят новые, еще невиданные нами испытания — испытания благополучием.

Но проходят-то его вместе со взрослыми. Не живут отдельно, а живут вместе с нами. И не такое уж это легкое испытание. Куда тяжелее, чем те, что придумывают они для своих отцов.

Сергей хочет обратить на себя внимание колокольчиком на колене, но он — задумывается над этим! — куда беззащитнее, чем, к примеру, какой-нибудь деляга, открыто привлекающий к себе внимание особняком, поднявшимся над всеми вокруг, или «мерседесом», купленным неизвестно на какие доходы. Тем-то попробуй скажи, что утверждать надо в науке или культуре — засмеются в лицо. Никогда раньше самоутверждение маркой автомобиля, всевозможным дефицитом, возможностью заграничных поездок не было таким престижным, и потому можно ли судить Сергея за то, что он хочет быть заметным, выделенным среди всех. Чем еще может он обратить на себя внимание того, допустим, «солидного»? Встать у него на пути и прочесть наизусть «Пиковую даму»?

Вот о чем я думал, когда слушал его. Ведь хочется

быть замеченным, а кто его так заметит? Кому он будет нужен? Кому интересен?

Когда он еще только позвонил в редакцию, я спросил (как спрашивал каждого), что же заставило его позвонить? Сергей ответил:

— Хочу, чтобы услышали!

Но не звук же колокольчика?! Не просто же так, чтобы только покрасоваться, шагают он и его приятели сквозь толпу на бульваре?

Большого ему надо! Чтобы увидели и вздрогнули, испытали хоть какое-нибудь потрясение те, которые, по его словам, «живут в пошлости и защищают пошлость». Что же стоит за обыкновенным колокольчиком, который сам по себе можно принять за шутку? По ком, как писал знаменитый писатель, звонит колокол?

Сергею сегодня чрезвычайно важно, чтобы его голос слышали в толпе. И, услышав, обратили внимание не на него или не только на него — на себя: как живут? что говорят? о чем думают?

Сергей учился в училище, по специальности, которая ему нравится. У него, по его словам, прекрасные отношения с родителями (спорят, но понимают!), а это случается не так уж часто. У него есть товарищи, то есть он не одинок. Он сыт и одет. Чего же еще не хватает ему в жизни? Чтобы его понимали? Чтобы к его словам прислушивались?

Вот о чем я думал, когда сидели мы с ним в нашей редакции.

Я протянул ему руку на прощание и спросил: «Ну а сейчас, может быть, уже можно снять?»

Он кивнул: «Пожалуйста» — и отцепил колокольчик, отколол двенадцать из пятнадцати булавок.

Ведь в конце концов дело-то не в этом!..

Их команды, понял я тогда, только средство обратить

на себя внимание, и полетят прочь шарфы и колокольчики, когда мы наконец-то увидим их.

Да, надо предугадывать те опасности, которые несут группы подростков, объединенные различными символами, пресекать хулиганские выходки, если они есть. Предугадывать, то есть изучать, смотреть, спрашивать, чтобы различить одних от других, уметь вести с каждым — и не бояться этого — диалог.

Но куда важнее, не упустить в этом новом и рациональное начало, не дать ему заглухнуть, не бояться их только за то, что они не такие, какими мы были в юности.

Ведь все-таки не из-за возможности «похулиганить» объединяются ребята в команды. Им хорошо друг с другом. И какой бы смешной и иллюзорной их жизнь ни казалась со стороны, мечтают-то они о жизни хорошей и настоящей.

Да, понимал я, в конце концов отпадут и три последние булавки, и Сергей поймет, наверное, что шокировать внешними атрибутами прохожих, вызывая в них какие-то иные, уже забытые чувства — дело безнадежное и непродуктивное. Все пройдет, он вырастет. Но как все-таки важно, чтобы осталась в нем мечта о жизни, в которой не будет места пошлости. Мечта, куда более высокая, чем у его приятеля, который готовится стать обывателем.

Хочется верить в это, очень хочется, и основание для этой веры есть.

4

Это поколение, повторяю, — новое для нашего общества, и именно в этой новизне должны мы искать сегодня ответы на тревожащие, а еще больше — интересующие нас вопросы.

Оно новое исторически, потому что впервые за наш век растут у нас ребята, чьи отцы не только не воевали, но родились уже после войны. Они растут в условиях привычного и устойчивого благосостояния. Они стремятся, чтобы увидели их лица, а сквозь лицо — личность единственную, неповторимую.

Может, именно к этому мы не привыкли? И потому-то так — булавками и шарфами — пробиваются они к нам? Иначе не заметим, не выслушаем!

Четверг. Телефонный звонок.

— Алло, слушаю вас!..

— Меня зовут Александр. Мне 16 лет.

— Слушаю, Саша.

— Мне нравится, что нами интересуются. Мне хочется с вами встретиться. И не только мне.

— Давай.

— Только чтобы это была нейтральная земля.

— Нейтральная? Обязательно?

— Можно будет увидаться в каком-нибудь кафе.

— В кафе? Саша, если буду встречаться в кафе со всеми ребятами, кто хочет встретиться, то мне придется просто не вылазить из-за столика.

— Я могу приехать и к вам в гости, но чтобы не было рядом много людей.

— Что за конспирация, Саша?

— Очень просто. Впрочем, сейчас я не могу пока об этом говорить. Но думаю, что и нам, и вам будет интересно. Вы ведь серьезно решили узнать все о нас?

— Серьезно. И если можно, все-таки приходи в редакцию. Иначе я просто не успею увидаться со всеми, с кем хочется увидаться.

— Я сегодня освобожусь только после девяти вечера.

— Тогда давай до следующего четверга.

Саша позвонит через полчаса и еще через час придет

к нам в редакцию. Он принесет с собой гитару. Зачем? — спрошу я. Он ответит, что ему легче спеть «программу» своей команды, чем пересказать ее. Войдут мои коллеги. Мы просидим в редакции допоздна. Он будет спрашивать нас, а мы его. И его вопросы к нам будут так же интересны, как и его ответы на наши вопросы. И кто-то, уже не помню сейчас, из моих коллег скажет: «Вот так надо чаще говорить».

Потом, уже совсем поздно, я зайду в гости к своему другу и расскажу ему об этой встрече в редакции.

Тот день был трудным, и к вечеру ощущения и воспоминания дня будут переплетаться между собой. «Так кто же он, из каких? Объясни толком!» — будет терзать меня мой друг. И я никак не смогу найти точную формулировку. Буду только повторять, что очень интересный шестнадцатилетний человек, задающий вопросы и смело отвечающий на них. Много читает и много хочет узнать. Имеет много друзей, а хочет иметь их еще больше. Ему хочется тайны и подвига. И чтобы поняли. «Так кто же он?» — снова спросит меня мой друг. И я в конце концов вспомню, что в песне, которую он спел, было сказано, как едет человек на коне, мелькают перед ним города и деревня, и он едет и мечтает, что кто-нибудь крикнет: «На помощь». И он услышит, и окажется рядом, и бросится на помощь.

НА КАЧЕЛЯХ

Осматриваю двор, в котором началась эта история, стараясь запомнить все и представить, что же тогда было перед глазами у ребят. Беседка. Стол доминошников. Узорная решетка детского сада. Гаражи, вплотную примыкающие к пятиэтажкам: один, второй, третий, пятый, одиннадцатый... — сбиваюсь со счета. Лужа возле асфаль-

товой дорожки. В ней — смятая пачка сигарет «Наша марка» и кукла без головы и рук. Наконец, качели. Те самые.

Думал, заскочу сюда, в западный поселок Таганрога, на Большую Бульварную, на пять минут, окину еще раз взглядом место события — и назад. Что рассматривать-то? Дома как дома, гаражи как гаражи, качели как качели. Но вот уже почти час, подняв повыше воротник куртки, брожу между домами, чувствуя на себе взгляды из окон. Меряю шагами двор, вспоминая, что рассказывал пятнадцатилетний Андрей («Бежали от угла соседнего дома, камень ударился здесь, возле качелей»), что было написано в уголовном деле («Свидетель Л. смотрел из окна третьего этажа, свидетельница Н. наблюдала с подоконника второго...»), — и чувствую: еще секунда, еще мгновение, еще шаг — и все пойму, все увижу, все станет объяснимым и ясным, как простая арифметическая формула.

Да неужели все так просто? Неужели и правда — обыкновенная арифметика?

События на Большой Бульварной начались с путаницы: четырнадцатилетнего Андрея приняли за десятилетнего Сашу.

На закате теплого субботнего дня 6 октября примерно (как сейчас установлено) в 17 часов 30 минут шестиклассница Лена прибежала в слезах домой и рассказала маме, что ее согнал с качелей четвероклассник Саша. Мама Лены, Вера Егоровна Зенина, воспитывала дочь одна и всегда болезненно воспринимала все ее неприятности, даже такого, не бог весть какого масштаба. И она, как была, в халате, сбежала по лестнице, выскочила из подъезда и увидела, как мимо качелей бегут трое мальчишек. Схватив первое, что попало под руку — а под руку попался камень, — Вера Егоровна швырнула его в ребят. Камень угодил в ногу мальчишке, и тот остановился. «Ты за что

избил мою дочь?!» — закричала Вера Егоровна и, подбежав, схватила мальчишку за плечи и начала трясти его, как какую-нибудь грушу. «Да это не он, мама!» — запрыгала вокруг нее Лена. Но Вера Егоровна или не слышала слов дочери, или в этот момент все обидчики девочки представлялись ей на одно лицо.

Мальчишкой, которого «перепутали», оказался Андрей Макшаков. И хотя ростом он был невысок, сложением хрупок, а лицом — совсем ребенок (это, видимо, и ввело в заблуждение Веру Егоровну), ему уже шел пятнадцатый год, он закончил восемь классов и учился в техникуме. Не думаю, что таким уже сильным был бросок Веры Егоровны или велик камень, который попал в ногу Андрею. Дело не в этом! Окажись на его месте парнишка помладше, завопил бы он: «Мама!» — вырвался из рук тетки и убежал, забыв обо всем через минуту. Но Андрей уже был не в том возрасте, когда подзатыльник считают мелкой неприятностью. Кажется, что за разница в четыре года! Но это у нас, когда чем старше, тем больше у тебя обнаруживается ровесников. От десяти же до четырнадцати — пропасть: там — детство, здесь — отрочество. Объемнее делается мир вокруг, острее его восприятие, болезненнее любое проявление несправедливости.

Вот почему, когда Андрей (а он и два его приятеля, Толя и Сережа, оказались в этом дворе совершенно случайно: бежали откуда-то куда-то), — да, когда попал он в такую заваруху, то не завопил, как маленький, но и не сказал спокойно, как взрослый и ко всему привыкший: «Гражданочка, уберите руки, вы меня с кем-то спутали». Он начал вырываться и заговорил горячо, громко, с обидой: «Не трогал я вашу дочь!» А потом крикнул: «Что ты ко мне пристала!» Он, подросток, ей, взрослой женщине, крикнул «ты».

Повторяю, была суббота, стоял теплый вечер южной

осени. И потому свидетелей этой сцены оказалось много. На лавочках, на подоконниках, в открытых настежь гаражах. Наконец, в беседке, прямо возле качелей. Само по себе нападение Веры Егоровны на ребят, ей незнакомых, явно из чужих домов, не было особенным событием, наоборот — привычным. Кто же, как не матери, вылетает во двор на защиту обиженных детей! И потому свидетели смотрели равнодушно. Встрепенулись, когда из уст сопляка, подростка услышали «ты», брошенное в лицо взрослому.

Мужчины мигом высыпали из беседки, и самый представительный из них и на вид солидный, Владимир Трофимович Опошнян, схватил Андрея за ухо: «Ты чего хамишь! Она тебе в матери годится!» — крутил он «по-отцовски» ухо Андрею. Андрей вырывался и говорил сердито, зло, что он никого не бил. Кругом закричали, что хулиганы вообще надоели, надо звать милицию. Кто-то толкнул Сергея, кто-то слегка ударил ногой пониже спины Толю. Андрей вдруг крикнул, указывая на Владимира Трофимовича: «Вы же пьяный! Вас самого надо в милицию!» Какой-то мужчина тут же вытащил из кармана удостоверение дружинника: «Вот сейчас и пойдем в милицию!» Но другие, наоборот, слова про милицию пропустили, зато возмутились другим. И загудели в ответ: «А ты ему не наливал!»

Андрей действительно не «наливал» ни Владимиру Трофимовичу, ни его товарищам по борьбе с «хулиганствующими» подростками. Как потом выяснилось, наливали другие. В этот день в доме 10/3 (двери подъездов — прямо к качелям) играли свадьбу, Владимир Трофимович, как владелец единственной во дворе новенькой «Волги», организовывал свадебный картеж, ну а потом ему налили. По-соседски.

Мальчишки стояли, окруженные толпой взрослых, мож-

но сказать, с «матерями» и «отцами». Правда, с чужими. Между взрослыми вертелась шестиклассница Лена, дергая за рукав то одного, то второго, доказывая с детской жаждой справедливости, что ее согнал не этот мальчик. Андрей что-то пытался еще объяснить, может быть, слишком нервно и громко.

И тогда Владимир Трофимович наотмашь ударил его по лицу. Сильно, так, что из носа потекла кровь.

Так в этой истории пролились первые капли крови...

Ребята вырвались наконец и побежали из этого чужого двора на улицу.

...Уже впоследствии, листая уголовное дело, я пытался найти в показаниях свидетелей — а их воп сколько было! — хотя бы одно слово в защиту Андрея и его товарищей. Кто-то ведь должен был сказать, уже одумавшись: «Да стоило ли так, товарищи!», спросить у самих себя, с чего начался сыр-бор? Представить, наконец, себя, взрослого, в ситуации так называемой напраслины? Ну что ближе... Хотя бы в магазине самообслуживания, когда тебя незаслуженно подозревают в краже пачки лаврового листа? Ну?..

Нет. «Вели себя вызывающе...», «грубили...», «огрызались...», «оскорбляли...». Даже те свидетели, кто за всем происшедшим наблюдал издали или «свысока», с третьего, пятого этажа, и то оказались единодушными, распределения роли. Подросткам — хулиганов. Взрослым, понятно, — если уж не потерпевших, не жертв, так защитников от «хулиганья». Слишком знакома подобная ситуация, слишком ожидаема, слишком легко ложится на сердце. Это как пьеса, по первым репликам которой становится тут же ясно, кто герой, а кто злодей...

И как часто житейский опыт, постепенно становящийся монолитом, мешает нам принять иной расклад событий...

Итак, куда же направился Андрей с двумя своими товарищами, потерпев сокрушительное поражение у качелей в чужом дворе? Думаю, будь они в самом деле десятилетними, побежали бы к мамам, подняли бы их в атаку от кухонь и телевизоров. Или — обиделись бы до слез, но забыли бы обиды с новыми впечатлениями утра.

Но в четырнадцать лет нарождается, проклевывается еще одно чувство, куда более высокое, чем обида, — чувство собственного, человеческого, гражданского достоинства. Не у каждого, конечно, в этом возрасте (в понятие «социальный инфантилизм» входит, наверное, кроме всего прочего, и неуважение к себе как к личности, гражданину), но у многих, у большинства, я уверен.

Андрей и его товарищи это чувство в себе уже услышали, ощутили его горькую сладость, и будто поняли, что зарастет обида, заживет разбитый нос, но такой шрамище может остаться на сердце надолго.

Вряд ли ребятам было знакомо слово, которым щеголяют юристы: «правосознание», но то, что они были уверены, что уже обладают правом на защиту своего достоинства, — в этом можно не сомневаться. Они пошли искать защиты в милицию.

Перешли широкую улицу. Там в двух шагах от их домов находился пункт охраны общественного порядка. Дернули дверь — закрыто. Постучались — никто не отзывался. Заглянули в окна — темно и тихо.

Кто-то из ребят вспомнил, что рядом находится медвытрезвитель — тоже, кажется, «милиция». Нашли, где это. Открыли дверь. Увидели человека в милицейской форме с повязкой на рукаве: «Дежурный». Кажется, то, что надо.

По медвытрезвителю дежурил в тот вечер В. С. Тимченко. Потом, когда уже все случится, он вспомнит: да, примерно в 18.00 пришли подростки и один из них спро-

сил: «Меня побил дяденька. Куда нам обратиться?» Тимченко объяснил, что здесь почти медицинское учреждение, на его попечении много разного народа, который в силу особенностей состояния нельзя оставить без присмотра. И — позвонил в отделение. Там сказали, или, как он говорит сегодня, послышалось, что сказали: посылай ребят к нам. Он и послал.

1-е отделение милиции, куда Тимченко направил ребят, находилось уже не возле их домов, а куда дальше, в нескольких остановках на автобусе. Дождались автобуса. Проехали. Нашли вывеску, уже светящуюся огнями: на город опустились сумерки.

По отделению дежурил в тот вечер капитан милиции Н. Н. Комаров. И он тоже хорошо запомнил этот визит: «Один парнишка — у него рубашка была в крови — сказал, что его «избил дяденька». Я спросил, знает ли он этого «дяденьку». Ответил, что знает только двор. Я сказал ребятам, чтобы они сходили за родителями и вместе с ними пришли в отделение».

Позже на вопрос, почему он даже не записал фамилии ребят, не зарегистрировал происшествие, Комаров объяснит, что ребята ему показались «еще маленькими, лет по 12». Потому и отослал их: подумаешь, взрослый «поучил пацана», врезал разок... Андрей потом вспомнит, что дежурный сказал им на прощание: «А что же вы этого «дяденьку» с собой не привели?» Это была, видимо, не самая удачная шутка капитана милиции.

Они снова оказались на улице. Автобуса ждать не стали — пошли пешком. Завернули за угол и увидели Сашу Проказина. Он стоял, облокотившись о подмостки сцены или эстрады, какие бывают в парках, будто давно ждал товарищей...

Я шел их маршрутом. Вот так же обогнул дом и увидел на пустыре между пятиэтажками эту сценическую

площадку, оставшуюся здесь, видимо, от каких-то давних праздников, митингов, когда не было вокруг сплошной жилой застройки. Теперь дома окружали ее плотным кольцом и смотрели на нее своими окнами, будто молча ждали начала следующего спектакля...

Дождь пошел сильнее. Ветер был противный, зимний, и сцена, иссеченная нескончаемым дождем, показалась мне в этом дворе чем-то фантастическим, нереальным, нарочно придуманным. Как и вся эта история — хотелось добавить мне. Но мы уже почти подходим к ее финалу.

Ребята сразу и в лицах рассказали Саше про те полтора часа жизни, что они не виделись. Разговаривая, поднялись по лесенке на сцену, просто так бродили по ней, стояли все вместе, о чем-то споря, будто и вправду играли пьесу перед окнами домов. И Саша Проказин сказал решительные слова: что именно надо делать. Делать прямо сейчас...

Но еще больше, чем об этой символической сцене, я думаю сейчас о другом: почему именно Саша, а не кто иной, попался им в ту минуту на дороге? Ведь ребята могли пройти мимо десятью минутами раньше, а Саша мог выйти из дома на полчаса позже... Почему случай играет такую роль в жизни?

Впрочем, Саша оказался именно там, где и должен быть. Такая выпала ему роль в мальчишеской компании. В свои четырнадцать лет он успел удивительно многое: завоевал разные спортивные призы — от футбола до стрельбы из электронного пистолета, закончил школу балетного танца, имел удостоверение юного водителя, поступил, как и Андрей, в техникум, был душой и заводилой в подростковом клубе «Мечта» (вход в подвал, где клуб, — прямо напротив тех качелей).

Но к Саше ребят притягивало и другое: он всегда знает, что делать, всегда защищает слабого, не выносит не-

справедливости. Это качество его характера — да нет, какое там качество, — состояние души подчеркнули все, с кем пришлось мне беседовать.

Мы грубо ошибаемся, полагая, что лидером среди подростков всегда становится самый сильный, или жестокий, или самый недобрый. Эта ленивая мысль держит нас в шорах. Раз подростки — значит, «трудные». Не хотим вспомнить себя. Не даем себе труда подумать, что большинство-то ребят обыкновенные, хорошие, нормальные, никакого криминала за душой! Порядочность, обостренное чувство справедливости, правды — вот те «проходные баллы», что выдвигают среди них лидера.

Потому-то, думаю, — пусть даже так распорядился случай, — Саша Проказин оказался там, где ему положено было оказаться в силу душевного своего назначения.

Саша сказал Андрею: «Этот человек должен извиниться перед тобой».

Жизнь может круто изменить профессию, о которой мечтал в детстве, заставить забыть, чему учился, насмешливо отвернуться от прежних увлечений. Но чувство справедливости — самое невычисляемое и самое дефицитное, — если оно сильно проявляется в детстве и юности, остается с человеком на всю жизнь нелегким и высоким грузом за плечами. Я знаю таких людей: уже взрослые — иные уже поседевшие — вдруг скажут вольное детское слово в разгар осторожной беседы и поставят все на свои места или удивят в суете освещающим детским поступком.

Такие «детские» люди всегда берут все на себя, как громоотводы.

Шел восьмой час вечера, когда Саша появился с ребятами в том дворе. Из окон дома № 10/3 слышны были музыка и крики «Горько!». Свадьба, начавшаяся утром, еще катилась. Ребята стояли и осматривались, у кого спросить. Увидели человека, нетвердо идущего по двору, «дя-

дю Тураева», как позже выяснилось. «Он меня ногой саданул», — сказал Толя. Саша подошел к человеку: «За что вы этих ребят били?» «Дядя» оглядел компанию мутными глазами, увидел кровь на рубашке Андрея и сказал: «Не, этого я не трогал. Того, — указал он на Толю, — было дело. А этого Володька Опошнян избил». И показал на подъезд дома.

Ребята вошли в подъезд, позвонили наугад в шестую квартиру. Дорошенко, сосед Опошняна по подъезду, вспомнит потом: да, действительно, звонили. Открыла жена. Увидела ребят, ответила на всякий случай, что не знает, где живет Опошнян.

Поднялись еще на этаж, нажали кнопку десятой квартиры. Из-за двери спросили: «Чего нужно?» — «Здесь живет дядя Вова?» За дверью помолчали немного, потом ответили: «Нет у таких! Идите отсюда!»

Спустились вниз, на улицу. Встали возле подъезда. Спросили у женщин на скамейке, где можно найти «дядю Вову». Женщины поинтересовались — зачем. Объяснили: надо, чтобы он извинился. Женщины поохали, но квартиру не назвали. В это время подошла Л. М. Душаткина, руководитель клуба «Мечта», в совет которого входил Саша Проказин. Остановилась, потому что в толпе ребят заметила и своего сына. Они наперебой начали рассказывать ей, как и за что избили Андрея. Она посоветовала не горячиться, отложить разбирательство до утра. Ей показалось: ребята прислушались к ее доводам. Пошла дальше, но что-то — может, это и было предчувствие — остановило ее. Вернулась к подъезду. Там уже никого не нашла.

Ах, если бы поверила она своему предчувствию! Если бы нашелся хоть один взрослый — а вот сколько их было: кто встречал их в дверях своих квартир, кто провожал глазами на ступеньках лестницы, кто смотрел из окон до-

мов, когда они что-то горячо обсуждали, — если бы хоть один-единственный догадался вместе с ребятами разобраться, что у них случилось, кто виноват, чем им помочь! Но никто, никто... Понимаете, никто?!

Что же происходит-то с нами? Свое — видим, чужое — не замечаем. Горло готовы перегрызть за обиду, нанесенную собственному ребенку, обиды чужих детей пропускаем мимо своего сердца.

Ребята дошли до пятого этажа, позвонили. Открыла Вера Егоровна Зенина, та самая, «Уходите по-хорошему, а то сейчас милицию вызову!» — крикнула она. «Вызовите, пожалуйста, — сказал Саша, — мы и хотим разобраться...»

Но Вера Егоровна хлопнула дверью и уже из-за двери крикнула: «Идите в десятую квартиру, там и разбирайтесь».

Итак, у дверей десятой квартиры оказалось трое ребят: Андрей, Саша и Володя Ершов. Остальным Саша велел спуститься вниз, чтобы не шумели тут, не базарили. Андрей нажал кнопку звонка.

Вот и подошли мы к последнему мгновению этой истории.

Неделю заняла у меня эта командировка. До меня — тоже неделю — находился в Таганроге эксперт «Литгазеты», опытный и авторитетный юрист Иван Матвеевич Минаев.

Вот сколько времени понадобилось, чтобы исследовать ход события, которое заняло всего ничего — часа два от начала до конца. Но чем внимательнее прослеживали мы их маршрут — как они метались от одного взрослого к другому, — тем больше убеждались: а ведь похоже! Так бывает и у нас, взрослых, когда незаслуженная обида гонит на поиски справедливости, и мы стоим у закрытых дверей или ищем сочувствия в равнодушных глазах, и даже цель

у нас та же: «Пусть хоть извинится...» Похоже, очень похоже! Только у ребят все происходит быстрее, скоротечнее, иногда — со стремительностью пламени бикфордова шнура. Все, как у нас, взрослых. Только ярче, открытее. Да, конечно, узнаваемо. Только у них чаще трагичнее финал. Оттого, наверное, что слишком стремительно, и оттого, что ярче. И оттого, наконец, что они куда беззащитнее, чем мы.

Итак, Андрей, нажал кнопку звонка. Зазвенели цепочки, загремели запоры. Дверь открыла женщина. «Можно позвать вашего мужа?» — спросил Андрей.

«Ну входите», — сказала женщина и закрыла за ними дверь на цепочку.

И через минуту раздался выстрел.

Распахнулась дверь, и выбежал Андрей. Он был в носках, без туфель.

— Сашу убили, — прошептал Андрей. И тут же раздался второй выстрел.

Андрей опустился на ступеньку, заплакал, и у него носом пошла кровь.

При первом, через несколько часов, допросе Опошня Владимир Трофимович, 1924 года рождения, уроженец села Опошня Полтавской области, показал:

«...Через полтора-два часа (после конфликта во дворе. — Ю. Щ.) я собрался идти в гараж. В коридоре на лестнице встретила эта Вера Зенина с дочерью и говорит, чтобы я не ходил, так как у дома целая шайка. Я повернул домой... Потом в дверь позвонили и спросили меня. Жена сказала, что такой не проживает. Затем снова позвонили. Я сказал жене, чтобы она их впустила, а я загоню их в туалет или на балкон и вызову милицию. Зная о том, что они наверняка пришли не с пустыми руками, то есть с оружием, я взял ружье и приказал жене открыть дверь. Вошли трое. Я приказал им идти на балкон. Они

не идут, тогда я приказал идти в ванную: там, думаю, они ничего не выкинут, если у них есть оружие. Они нагло идут на меня...»

Все сказанное было ложью.

Ребята вошли в квартиру, дверь за их спиной заперли. Они сняли обувь, как принято здесь, в носках вошли в большую комнату («залу» — как скажет Андрей) и увидели направленную на них бельгийскую двустволку. «Ну что, достукались?!» — зловеще спросила жена хозяина. Саша Проказин развел руками (была у него такая привычка в любом разговоре), но успел только сказать: «Давайте разберемся...» И тут хозяин выстрелил. Саша как-то странно улыбнулся и упал. Смерть его наступила мгновенно...

«Я выстрелил в потолок, — показал далее Опошнян, — чтобы напугать их. Но двое, большой и самый маленький, бросились на меня. Большой толкнул меня на диван, и в это время я каким-то образом выстрелил, ни в кого не целясь, и попал в того, что в куртке. Тот упал, а большой стал душить меня на диване...

Вопрос следователя: Каким по счету выстрелом вы убили Проказина?

Ответ. Первый выстрел я произвел в потолок, а второй во время схватки, когда они на меня накиннулись. Я в Проказина не целился...»

И это была ложь. Саша был убит первым выстрелом, в упор. Затем Опошнян торопливо вынул из ствола стреляную гильзу и зарядил новую. Как на охоте. В потолок пришелся второй выстрел, и лишь потому, что Володя Ершов успел схватить за ствол ружье и повернуть его вверх.

Впоследствии Опошнян будет утверждать, что курок спустился, так сказать, самопроизвольно. Но и это будет ложью. Эксперты определяют, с курком было все в порядке.

Но не для того, чтобы отделить ложь от правды, вчитывался я в уголовное дело. А для того, чтобы разобраться: да почему же Владимир Трофимович вообще стал убийцей? В собственной квартире, устланной коврами и уставленной полированной мебелью (не то что пуля попадет — оцарапать жалко)? В присутствии жены и внука? В ребят стрелял, которых все принимали за 10—12-летних? Ну если испугался, то не открывал бы, крикнул бы в окно, обзвонил бы милицию? Что же так, специально, что же засаду-то устраивать, что же расстреливать-то?

Читаю его автобиографию в уголовном деле. Все обычно: жил, работал шофером. По характеристике с последнего места работы — автобазы филиала рыбзавода, трудился вроде достойно, и наставником молодежи был, и председателем цехкома избирался неоднократно, и на Доску почета заносился. В пьянстве замечен не был, и те, по его словам, 120 граммов, принятые на свадьбе, явились для него, скорее, исключением, чем правилом. В домино — и то не играл с мужиками. Был хозяйственным, семейным, «домашним».

Правда, десять лет назад был осужден на исправработы: за хищение цемента. И вот еще: слишком уж часто менял автомобили, пока не купил «Волгу». Но есть ли связь между тем мешком цемента и выстрелом, между тем, как жил и обставлял свое «гнездо», и убийством? Не знаю.. По бумагам, анкетам, документам — не видно...

Что же все-таки заставило его спустить курок?

Когда мы с ним встретились в следственном изоляторе и я впервые увидел его: высокого роста, но не грузный, лицом — несмотря на свои шестьдесят — румяный и моложавый, в движениях и разговоре спокоен, — и тогда я никак не мог ответить себе: что же за феномен такой передо мной? И хотя некоторые рассуждения Опошняна меня резанули: следы крови на рубашке Андрея он, допус-

тим, приписывал не своему кулаку, а тому, что они, ребята, наверняка после этого еще «кошку убили (почему кошку?) и специально себя кровью измазали», — но в общем говорил он складно. Сам, например, вспомнил старую газетную статью о владельце дачи, который застрелил мальчишку из-за черешни. Сказал при этом: «Вот какие бывают люди!» Свою историю сравнил со «случайным наездом на улице». Да, конечно, ему жалко, что так произошло, но не специально же он! Ведь, объяснял он мне, если бы хотел убить, то убил бы того, нахального, в клетчатой рубашке, которому еще во дворе врезал по носу. Надо было, считает он сейчас, сделать по-другому: позвать соседей — есть там два здоровых парня, посадить их в ванной в засаду (он так и выразился — в «засаду») и захватить скопом всех, как он сказал, хулиганов. Вместо всякой стрельбы.

И в самом деле, зачем же было такому человеку идти на убийство? Да еще на такое? И даже стало жаль его, когда в конце нашей беседы на глазах его показались слезы: «Вот ведь получилось... Жил-жил, и такое перед старостью! Выйду оттуда — ведь совсем стариком буду».

И в последний день командировки я все бродил между пятиэтажками на Большой Бульварной: беседка, стол для доминошников, узорная решетка детского сада, гаражи, лужа, кукла без головы и рук, качели, те самые. И возле них я, кажется, понял, в чем дело. Понял?! Но неужели «причина» выглядит так просто? Как формула?

Вот что, мне кажется, опустило его палец на курок — ненависть, смешанная со страхом. А это самый взрывчатый сплав в мире. Не лично Сашу Проказина ненавидел В. Т. Опошнян и боялся — он и не знал его, и в глаза не видел раньше... А хотя бы и знал!.. Достоинства детской, юношеской души — даже не потемки, а какие-то черные

дыры для человека, что называется, «умудренного опыта». Слишком слабый след от собственной юности остается у него в памяти, да и тот, что остается, не бережет он, а часто и не хочет сберечь. Что Владимиру Трофимовичу было до понятий мальчишки о добре и зле и его собственном участии в вечном их противоборстве?! Точно так же не мог быть его личным врагом Андрей Макшаков, знакомство с которым состоялось на два часа раньше. Да больше того! Я выпытывал у Владимира Трофимовича: может, когда-нибудь раньше была у него стычка с подростками, напугавшая его и внушившая ненависть к самой этой возрастной группе населения? То есть, может, Саша Проказин расплатился жизнью за поступок каких-то своих ровесников? Да нет. Сколько ни вспоминал Владимир Трофимович, к нему лично никогда не подходили на улице подвыпившие юнцы, не требовали закурить, не смеялись в спину... Да и наблюдать-то подобные сцены ему не приходилось. И самое интересное (будто специально смоделирована ситуация), что район, где проживал Опошнян, — поразительно тихий. Среди множества подростков, населяющих микрорайон, за последние четыре года ни один — повторяю, ни один! — не совершил преступления, а все юные участники этой истории были на редкость благополучные (по воспитательно-юридической оценке) и порядочные (по общей, вневозрастной) ребята.

Кого же он боялся и ненавидел? В кого стрелял?

Может быть, в тот созданный его страхом и ненавистью образ, который в решающую секунду принял вид паренька с удивленно разведенными руками и с незаконченной фразой «Давайте разберемся...»?

Давайте, давайте разберемся! Давайте разбираться!

В последнее время меня до боли пугают та неприязнь, открытое и агрессивное непонимание и даже страх, доходящий до ненависти в отношении подростков, о которых

пишут в редакцию некоторые читатели. Я знаю об этом из разговоров и споров в разных аудиториях и даже из некоторых газетных публикаций. Начинают с мелочей: не то поют, не то танцуют, не так одеваются, а кончают принципом: живут вообще не «так» (в подтексте: негодяи; смысл: что-то надо срочно делать...).

Я пишу судебные очерки, и мне приходится нередко изучать не проступки даже, а преступления несовершеннолетних. Я знаю, что такое слепая сила подростковой стаи. Я сидел — глаза в глаза — напротив маленьких убийц, говорил с ними. Видел и слышал в них такую душевную, духовную нищету, такое убожество интересов, такое пренебрежение к другому человеку, что потом долго не мог прийти в себя.

Но я понимал, эти-то подростки — преступники. И среда их развития была аномальна, и поступки, совершенные ими, не укладывались в общественную норму.

Да разве не такое же ощущение оставалось после бесед с такими же «аномальными» взрослыми? Несмотря на их возраст и жизненный опыт, точно так же ошарашивала и их духовная нищета, и их убожество интересов, и их пренебрежение к другому человеку.

Значит, дело-то вовсе не в возрасте. Есть разные подростки, и есть разные взрослые. Но не закидываем же мы камнями самих себя, когда именно на подростков проецируем все наши взрослые проблемы?

Случай, о котором приходится сегодня рассказывать, взбудоражил город. Под письмом, полученным газетой, стояло 222 подписи: наказать! Сделать частный случай фактом общественного размышления! Защитить ребят! Но в том же письме было сказано: кто-то собирает подписи в защиту убийцы, кто-то заявляет: «Так им и надо, хулиганам». Кто-то — даже сейчас! — говорит, что «и остальных надо было проучить». Не поверил бы, если бы

сам здесь, в городе, в кабинете, не услышал — и ужаснулся, тому, что услышал: «А пусть не ходят шайками!» Ну да, пусть хотят поодиночке (двое — уже «шайка»), с портфелями, и не торопясь, и только днем, и желательно, чтобы только по той улице, которая видна из окон отделения милиции...

Вот он, слепой страх, переходящий в слепую злобу!

Мы — как на детских качелях: от неистовой любви к собственному чаду до ненависти к его ровесникам — и обратно. Давайте остановимся и сойдем на землю. Давайте взглянем в ребят и увидим, как они правдивы и активны, как хотят докопаться до ответов на главные вопросы жизни, как жаждут уважения к себе и как доверчиво отвечают на малейшее к ним внимание...

Упрекая их всех скопом, и чаще всего незаслуженно, за какие-то мелочи, говоря, что они живут «не так», мы порой забываем одну-единственную малость: они — это мы. Только моложе.

За что отдал жизнь Саша Проказин? Странное словосочетание — «отдал жизнь» — по отношению к случайной жертве случайного преступления. Понятно, предотвратил бы ценой жизни крушение поезда — другое дело. А так?.. Но чем дальше я думаю о трагическом происшествии в Таганроге, тем больше убеждаюсь: да нет, все-таки отдал жизнь.

Перед глазами часто, даже когда не хочется, те подмостки сцены во дворе и паренек, застывший на ней. Минута, другая — и он сойдет по ступенькам и скажет с надеждой и верой: «Давайте разберемся...»

Запомним Сашу таким.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
«Чисто сердечное признание»	4
Спасатель	17
У реки	31
По ком звонит колокольчик?	44
На качелях	76

Юрий Петрович ЩЕКОЧИХИН

НА КАЧЕЛЯХ

Редактор О. А. Рябова
Художественный редактор М. В. Таирова
Технический редактор Г. П. Мартыанова
Корректор С. В. Мироновская

8, 12

ИБ № 7315

Сдано в набор 03.12.86. Подписано в печать 24.03.87.
А 02882. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типограф. № 1.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20.
Усл. кр.-отт. 4,46. Уч.-изд. л. 4,17. Тираж 50 000 экз.
Заказ 3416. Цена 15 к. Изд. инд. ХД—134.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, проезд
Сапунова, 13/15.

ПО «Чертановская типография» Управления издательств,
полиграфии и книжной торговли Мосгорисполкома. 113545,
Москва, Варшавское шоссе, 129а.

8, 1а